SERIES MINOR

И ТОЛЬКО ПАМЯТЬ ОБО ВСЁМ ОБ ЭТОМ...



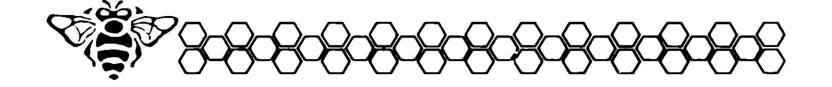
НАТАЛИЯ ИЛЬИНА В ВОСПОМИНАНИЯХ ДРУЗЕЙ

ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ



STUDIA PHILOLOGICA

SERIES MINOR



И ТОЛЬКО ПАМЯТЬ ОБО ВСЁМ ОБ ЭТОМ...

НАТАЛИЯ ИЛЬИНА В ВОСПОМИНАНИЯХ ДРУЗЕЙ



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Москва
2004

ББК 83.3(2Рос=Рус)6
И 11

И 11 И только память обо всем об этом...: Наталия Ильина в воспоминаниях друзей / Сост. В. Жобер; Ред. Л. Л. Касаткин, М. В. Тимофеева. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 256 с., ил. — *(Вклейки после с. 96 и 192)*

ISBN 5-94457-189-6

В книгу вошли воспоминания о Наталии Иосифовне Ильиной (1914—1994). Она вернулась на родину из Маньчжурии в 1947 году, окончила Литературный институт и стала профессиональным литератором. Ее «новомировские», а позднее «огоньковские» статьи и фельетоны, литературные портреты и автобиографическая проза находили отклик у интеллигентного читателя 60—90-х годов прошлого века. В сборник включены статьи о книгах Наталии Ильиной «Белогорская крепость» и «Дороги и судьбы», письма читателей, а также последняя глава ее автобиографической прозы — «Тихий океан».

Большая часть фотографий из семейного архива Н. И. Ильиной, Ольги Лаиль и Вероники Жобер публикуется впервые.

ББК 83.3

В оформлении переплета использован портрет Наталии Ильиной, написанный Таисией Жаспар в Шанхае в 1947 году.



ПРЕДИСЛОВИЕ

> И через сколько-то летящих лет
> Ни россиян, ни дач, ни храма — нет,
> И только память обо всем об этом,
> Да двадцать строк, оставленных поэтом.
>
> *Арсений Несмелов.* Эпитафия

Наталия Иосифовна Ильина скончалась десять лет назад, 19 января 1994 года, в ночь на Крещение, не дожив четырех месяцев до своего восьмидесятилетия. В мае того же года ее многочисленные московские друзья отметили ее день рождения на вечере в Центральном доме литераторов. Выступали многие, вспоминая ее с теплотой и задушевной искренностью, без всякого пафоса и официозности. Тогда же зародилась у нас всех идея собрать воедино все эти выступления и издать книжку ее памяти. К сожалению, этот замысел, который мы все горячо поддержали, тогда не осуществился.

И вот настал 2004 год, когда отмечаются две даты, связанных с памятью Наталии Иосифовны, и мы решили, что наступила пора наконец это сделать.

В основу сборника легли тогдашние устные выступления, записанные на пленку на том вечере. Этим объясняется краткость отдельных собранных здесь текстов. Некоторых авторов — Никиты Толстого, Святослава Федорова, Владимира Лакшина, И. Грековой — увы, уже нет в живых, и нам всем особенно дорога возможность вновь услышать их голос.

К тогдашним выступлениям прибавились здесь воспоминания ее родственников и многих друзей, с энтузиазмом

откликнувшихся на предложение участвовать в нашем сборнике.

Стоит напомнить незаурядный жизненный путь Наталии Ильиной, оказавшейся с шестилетнего возраста в эмиграции в Харбине, куда ее увезли родители-дворяне, вернувшейся репатрианткой в Советский Союз в 1947 г., ставшей на родине известной писательницей. За свою долгую и интересную, несмотря на житейские трудности жизнь Наталия Ильина приобрела много друзей, причем самых разных, в этом легко убедится читатель этой книги. Она умела выбирать друзей, окружать себя интересными, каждый по-своему, людьми. Все знавшие ее подчеркивают, что общение с ней всегда было двусторонним и взаимно обогащающим. Удивительно легко удавалась у нее дружба с представителями самых разных поколений. Красной нитью во всех текстах проходит упоминание о ее нетерпимости к пустым разговорам, праздной болтовне, о ее бесспорной требовательности, характерной для настоящего интеллигента, но лишенной всякой педантичности.

Здесь собраны, с одной стороны, воспоминания друзей самых далеких времен: из Харбина, Шанхая и Кореи, разделивших с ней кто знакомство с вновь приобретенной родиной в качестве репатриантов после войны, а кто просто причастность к русской культуре, не умершей в эмиграции, будь это в Китае или во Франции. С другой стороны, это воспоминания друзей последних лет, навещавших ее в московской квартире и разделявших с ней волнения и радость, овладевшие ею с началом перестройки. Наталия Иосифовна вместе с ними радовалась тому, что настало такое время и что им вместе суждено было дожить до этой поры.

В дополнение к воспоминаниям и статьям о ее личности и творчестве и письмам читателей, которых Н. И. тоже считала своими друзьями, мы также включили в книгу последнюю главу ее автобиографической прозы «Тихий океан», опубликованную посмертно в «Вопросах литературы» в 1994 г. Эта глава должна была стать началом книги

«Второе возвращение», над которой она работала последнее время. Здесь идет процесс переосмысления прожитой жизни на фоне исторических событий, проступает желание довести до понимания читателя всю сложность психологических переживаний русского человека, воспитанного на чужбине, всю жизнь стремившегося к себе домой, туда, где говорят и пишут на его родном языке. Ведь для нее, как она неоднократно повторяла своим близким, родина начиналась не с пейзажа с неизменными березками, а с русского языка. В основу «Тихого океана» легли воспоминания, которые она заставила себя написать в 1957 году, ровно через 10 лет после возвращения в Советский Союз в 1947 г. — в страшные последние годы сталинщины. Из этих воспоминаний явствует, что уже тогда, когда выходит первая часть ее романа «Возвращение», она своим умом и чутьем многое поняла, но отложила до лучших времен.

Все знают, что она не любила собирать всех своих друзей вместе, а звала к себе поодиночке или маленькими группами. Я думаю, что в этот раз она простит нам, что мы изменяем этой традиции. В отличие от ее кухни, которая не могла вместить столько гостей, наш сборник собрал почти всех близких друзей Наталии Иосифовны, и нам радостно видеть, что их так много.

Вероника Жобер
Март 2004 г.

Н. И. Толстой

КОРНИ

Ей не было шести лет, когда она встретила моего отца, — в тифу и без сознания его погрузили в соседний вагон поезда, который увозил из Омска Екатерину Дмитриевну Воейкову, мать Наташи Ильиной, и ее саму. Отца моего случайно обнаружили в брошенной больнице, он был морским офицером. Всю эту линию отступления держали морские офицеры, и отец Наталии Иосифовны тоже был морским офицером. Она все это вспомнила у нас за столом за рюмкой водки. А рядом сидел Александр Александрович, который сказал, что рюмка ему мала, другая оказалась великовата, а третья пришлась в самый раз. Отец познакомился с Реформатским в сороковые годы, уже после войны. А. А. преподавал языкознание, отец — сербский язык.

Ильина и Реформатский удивительно дополняли друг друга. И хотя у них не было детей, Н. И. была замечательным семьянином, она нежно о нем заботилась, — может быть, не без некоторой доли террора, но в семье это, знаете ли, как сказал поэт, «иго легкое твое». И делала она это всегда тонко, даже иронично, на что А. А. отвечал сторицей, прикрывая ответной иронией глубину чувства...

Ее очерк о Реформатском в журнале «Октябрь» я прочел сразу, взахлеб, и был взволнован и поражен — так все удивительно точно, с таким чувством меры и душевной правды. Нигде, ни об одной строчке нельзя сказать, что это нетипично для А. А. или это не совсем он. И даже вещи заговорили: и письменный стол, и треснувшее стекло, и гроб, на столе стоявший, и стол поминальный... И стол,

наполненный все теми же вещами и тот же, а без хозяина. У нас в доме в бывшей папиной комнате (мы никогда не говорим «бывшей» и не думаем так) тоже стоит стол — папин стол, на котором все, вплоть до случайно упавшей копейки, лежит так, как лежало в последние дни в 70-м году. И лежат карточки, на них толстенные очки, как положил их отец, чтобы вернуться к работе над словарем. И мы ждем, когда он вернется к этому столу... Перечитываю очерк Н. И., и снова прохожу в мыслях свой путь с Реформатским, и это двойное чтение и двойное восприятие одного и того же дорогого человека очень волнует меня.

С годами я чаще вспоминаю прошлое и особенно эмиграцию. Мне жаль теперь, иногда почти до слез, стариков, уходивших в чужую нерусскую землю, многочисленных генералов, польско-русских и остзейских русских графинь, простых донских казаков или казаков кубанских. Тогда их не было жалко, все было обесценено, и все было вне России. И Россия была для моего поколения или мифическая, или созданная из стихов Блока, Гумилева, Пушкина и Некрасова, гравюр Добужинского или рисунков Билибина. Было сладостно любить ее, ту Россию, смотреть и чувствовать, как любят ее наши отцы. Гораздо труднее теперь любить эту — зримую и осязаемую.

Н. И. не задавалась целью писать об отношении Реформатского к России, да и он бы этого не хотел. Но все само получилось: уникальный русский человек. Как уникален всякий настоящий человек, и как уникально, вероятно, во Вселенной наше человечество. На то есть воля Божия. И Бог в этих записках присутствует зримо и весомо, хотя *Бога человѣкомъ не возможно видѣти*, и Н. И. не стремилась Его показать.

Меня немножко задевает, когда говорят, что Наталия Ильина была космополитом. Я под этим словом никогда не понимал ничего дурного, и если бы сейчас оно снова стало бранным, я бы себя называл космополитом. Но во всем, что она писала, и в ней самой была чрезвычайная глубина русской культуры. Говорят, она осознала свои

корни только под конец жизни. Я так не думаю, они были всегда, просто конец жизни — это начало исповеди, и может быть, мы эту исповедь получили не до конца.

Я младше на девять лет, наш белградский очаг был особый, не похожий на парижский. В Белграде было 200 тысяч жителей и каждый пятый — русский. Практически маленький русский город. У нас даже свой МХТ был — вся труппа осталась, кроме Качалова. Была русская гимназия, в которой я учился. И Наташа тоже училась в русской гимназии. Харбин — самый чистый в эмиграции, полноценный русский город. Эмиграция, как только Гитлер появился на политической арене, разделилась на оборонцев и пораженцев. Включая великого князя, как тогда говорили, государя императора Кирилла Владимировича, многие были оборонцами. А Наталия Ильина была сознательной оборонкой. И не только во время войны. Она обороняла русскую культуру в своих книгах или, во всяком случае, не отдавала ее, не расставалась с ней.

Она была по крови дворянкой. Может быть, это не так существенно. Но она была абсолютная дворянка по духу. Это, если хотите, и есть аристократизм — ее простота, способность общаться с кем угодно на равных, никогда не ставя себя выше. Даже когда она кого-то высмеивала, она все равно не становилась в позицию «выше-ниже», она никогда не унижала человека, она делала его позицию смешной, предлагая ему подняться.

Эти уроки сохраняются в ее книгах.

Говорят, стиль — это человек. И как славно, что в русской послевоенной литературе есть такой стиль — стиль Наталии Ильиной.

Лариса Андерсен

ЭМИГРАНТСКИЕ БЕРЕЗКИ

Мы умрем, а молодняк поделят
Франция, Америка, Китай...

Арсений Несмелов

Не помню, кто сообщил мне по телефону об этом. Одно врезалось в сознание: умерла Наташа... Наташа!!! Ведь как будто совсем недавно она была здесь, у меня, и мы так хорошо беседовали[1].

Наташа... Подругами мы не были, но знали друг друга еще со времен нашей харбинской юности. Встречались иногда на вечерах литературного общества, иногда на спортивной площадке за рекою Сунгари. Случалось, у общих знакомых. Как-то раз Наташа забежала ко мне. Это было после моего первого посещения Шанхая, где я провела зиму, работая секретаршей в журнале «Прожектор». Наташа хотела проведать о шанхайских возможностях, что было уже наболевшим вопросом, так как жизнь в Харбине не предвещала ничего хорошего. Эта встреча была для нас как бы предвестником перемены в нашей жизни. Вскоре после этого мы встречались уже в Шанхае, где Наташа вполне преуспела в своей литературной деятельности. Наташу оценили, ее остроумные и порой колючие фельетоны печатались и читались. Как и в Харбине, мы встречались случайно, на улице или у знакомых, но лучше всего мне запомнилась одна беседа, когда мы сидели вдвоем на траве на каком-то пустыре, не то в саду. Запомни-

[1] О встрече с Ларисой Андерсен Н. Ильина рассказала в одной из глав своей автобиографической прозы. См.: Октябрь. 1987. № 5. — *Прим. ред.*

лось особенно то чувство легкости и созвучности, которое неожиданно возникало в нашем разговоре. И запомнилось, что Наташа сказала слегка удивленно: «Как хорошо ты меня понимаешь! С тобой так легко говорить!». Приятно было это услышать от такого насмешливого критика как Наташа, но это у нее был несомненный дар — разбудить в собеседнике соответствующую реакцию. Разговаривать с Наташей всегда было интересно, даже болтать о пустяках. Несмотря на то, что мы были разные и, вероятно, не во всех вопросах могли быть согласны.

Вот и наши дороги пошли по-разному...

Войну, конечно, она и я, как и все наши друзья, переживали одинаково: трепетали за ее исход и за участь своих, русских. Но когда война кончилась и возникла возможность ехать на родину, Наташа сразу — сознательно и целеустремленно — решила ехать. Вообще не поехали только те из моих «литературных» друзей, у которых были сложные семейные обстоятельства. Я металась в нерешительности: из Шанхая почти все уезжают, работу находить трудно, а «там» что я смогу делать? И — тоже проблема: мой одинокий отец, который уже несколько лет ждет меня в Канаде, после того как я при помощи Красного Креста выписала его из Харбина. Все это время китайцы меня почему-то не выпускали.

На мосту

На том берегу — хуторок на поляне,
И дедушка тополь пред ним на посту.
Я помню, я вижу сквозь слезы, в тумане,
Но все ж я ушла и стою на мосту.

А мост этот шаток, а мост этот зыбок,
От берега деда на берег... иной.
Там встретят меня без цветов, без улыбок,
И молча ворота захлопнут за мной.

Там дрогнут и хмурятся темные ели,
Там, ежась от ветра, мигает звезда...
Там стынут улыбки. И стонут метели.
Нет, я не дойду, не дойду никогда.

Я буду стоять, озираясь с тоскою
На сторону эту — на сторону ту...
Над пастью обрыва, с проклятой рекою
Одна на мосту.

Случай или судьба, но все разрешилось вроде как без моего участия: за ужином во французском клубе моим соседом оказался новоприбывший служащий французского пароходства, и после нескольких встреч с ним я поняла, что мой путь лежит не в Советский Союз и не в Канаду, а во Францию.

И вот в этой совсем новой жизни — опять Наташа. Несколько коротких встреч в Париже, где она навещала сестру и племянницу, и наконец Наташа у меня, в маленьком городке в верховьях Луары, где я, увы, уже одна среди гор, лесов и лугов. Где мы и разговорились о перемене в нашей жизни и о том, кто сожалеет об этом и кто — нет.

Наташа не жалела. Она знала, чего хотела, и ее цель была достигнута: она хорошо работала, ее ценили, книги издавались и читались. И, преодолев некоторые трудности и лишения и даже помехи, она заслужила нужную для работы репутацию и возможность выезжать. И, конечно, у нее там была «атмосфера» и встречи с другими писателями, свой язык...

А я? Опять не знаю: и жалела, и нет. Жаловаться не имею права: французская семья приняла меня хорошо, я влюблена в эти леса, среди которых живу, я повидала, благодаря работе мужа, много интересных стран. Ведь главной причиной опасений ехать в Союз было: вдруг захочу уехать, и нельзя. И моя проблема с отцом разрешилась — я выписала его из Канады, и он был со мной до самой смерти. (Как ему понравились эти леса, напомнившие его родное Полесье!) А еще я смогла несколько раз съездить в Москву и в Киев к моей тетке, сестре отца.

Но все же во всех этих странах — Индии, Африке, Вьетнаме, на Таити, где мы жили 10 лет по-королевски, да еще возвращаясь каждые два или три года во Францию

на время отпуска, — почти всегда не хватало «своей» атмосферы, «своих» людей. Я совсем не националистка и не считаю, что русские обязательно «лучше всех». Да и бывают русские — «не свои», но сколько раз, сидя разряженной светской дамой на каком-нибудь приеме или ужине и растерянно улыбаясь, когда начиналась «тонкая игра слов», которой я не понимала, я мечтала о русском застолье в какой-нибудь уютной кухоньке, где я могла бы посмеяться со своими русскими друзьями. Конечно, язык — это общение, а чужой язык — преграда. Но только ли язык? Есть еще что-то неуловимое, что делает людей «своими», даже чужестранцев. Общие интересы? Скорее некая общая закваска, существовавшая, может быть, раньше нас самих. Боюсь, что и мой отец скучал еще больше, чем я, сидя в Индии среди гостей, которых следовало пригласить и о которых потом даже не вспомнишь. Нужен ли ему был этот лакей в белой чалме и белых перчатках, разносивший блюда? Насколько счастливее был бы он, если бы мог побеседовать с русскими друзьями и пойти в русскую церковь...

Нет, я не могу жаловаться: теперь, когда я осталась одна, я вижу, сколько добрых и внимательных людей и среди французов... Но настоящая радость для меня это — когда приезжают в мою «трущобу» мои русские друзья. Тогда я словно возвращаюсь домой, к себе самой.

Я едва пробираюсь тропинкой узкой
Меж стенами пшеницы, пшеницы французской,
Как в России синеют, смеясь, васильки...
Васильки васильками, друзья далеки!

Если правда, что можно летать после смерти —
Просто так: обо всем позаботятся черти —
Ни билетов, ни виз, — то куда бы сперва?
Закружится, боюсь, у чертей голова.

На Харбин, на Шанхай, на Мадрас, на Джибути?
На Сайгон, на Таити... Москву не забудьте!
Тель-Авив, Парагвай, Сан-Франциско, Канада,
Сидней, Рио, Гонконг... И Варшаву мне надо!

Да еще... Соловки, Колыму, Магадан...
На метле? Я готова. Тащи чемодан!

И вот Наташин приезд. Как хорошо мы поговорили! И я была рада, что она сказала мне как когда-то: «Как легко с тобой говорить, ты все понимаешь с полуслова. Мы на одной волне, я с тобой отдыхаю. Все эти новые знакомства...». И мы всласть поездили с Наташей по здешним окрестностям. Она удивлялась, что во Франции есть еще такие дикие места. Для пущего эффекта лесная косуля перебежала нам дорогу под самым носом.

«Ну а как твои стихи?» — спросила Наташа, когда мы вернулись с прогулки. И процитировала наизусть мой стишок о березке:

Я березку вдруг захотела
Посадить у окна в саду.
Но фантазиям нет предела,
Только силам есть, на беду.

Тут березка! Но я — сломалась.
Видно, вышел просчет в пути:
Мне осталась такая малость,
А березке еще расти.

И кому и что она скажет
Русским сказом, если не мне?
Ведь берез на кладбище даже
Не посадят в этой стране.

Здесь береза — дров не дороже,
И еще зовут, как назло,
Грубым именем, так похожим
На жаргонный пошиб: Було[1].

«Хорошо», — сказала Наташа. И спросила: почему это все эмигранты всегда пишут о березках? Позднее в ответ на это я написала еще одно стихотворение:

---

[1] Во французском языке существуют два омонима: *bouleau* — березка; *boulot* — работа (на жаргоне). — *Прим. ред.*

Эмигрантская березка

Посвящается Наталье Ильиной

Странно, скажешь, стишок читая:
Все березки, куда ни глянь!
Мы-то выросли ведь в Китае,
Нам — бамбук бы да гаолян!

Да про пламенные закаты
Над просторами той реки,
Где мы радовались когда-то,
Мы, маньчжурские земляки.

Там и радость и печали
Напитали росток души.
А березы Москвы едва ли
По-особому хороши.

И в Китае росли березы,
И багульник по сопкам рос,
Почему же тогда все грезы
О российской красе берез?..

Наша родина — не на карте,
Наша родина — не земля,
Не багульник, расцветший в марте,
Не березы, не тополя...

Наша родина — это сказки,
Это песни, что пела мать,
Это — книжки, картинки, краски,
Что успела душа впитать.

Это — грусть о любимом доме,
Что остался среди берез,
Где «все было» наверное, кроме
Этих маминых частых слез.

Это — свет голубой лампадки,
Чуть мерцающий из угла.
Это карточка той лошадки,
Что еще до меня жила.

Это — память. Не только наша,
Память матери и отца.
Это — вклад, родовая чаша,
Не испитая до конца.

И быть может, слова поэта
Залетевшие в память где-то,
Долго тлевшие в глубине,
Вдруг зажглись... И березка эта
Стала родственницей и мне.

Я написала это, когда Наташа уже уехала. И когда я осталась одна со своими кошками и собаками. И с французами, которые, при всей их любезности, русских стихов понять не смогут. И то, что перед отъездом сказала Наташа: «Тебе надо издаваться у нас», — шевельнуло во мне какое-то неясное чувство, вроде сожаления. «У нас»... А где это мое «у нас»? Я все-таки всегда — «у них». Просто я загрустила оттого, что Наташа уезжает... Но я очень надеялась на ее будущий приезд. Я думаю, она бы приехала ко мне опять. И вдруг этот звонок.

Наташа....

А ведь мы не были подругами.

Валерий Янковский

ВСТРЕТИЛИСЬ В ЛУКОМОРЬЕ

Впервые я встретил Наташу, когда она вместе с совсем юной сестрой Ольгой-Гулей приехала к нам в Корею летом тридцать пятого года и гостила на даче тетки Катерины и дяди Бори Бринеров в Лукоморье, на самом берегу теплого Японского моря. И шел ей двадцать первый год. Стройная и статная девушка бросалась в глаза своей спортивной фигурой. Помнится, муж моей сестры Музы, Гриша Потапов, оказывал ей особое внимание, что, конечно, не ускользнуло от зоркого ока Музы Юрьевны...

Тогда мы часами купались и проводили время на золотистом песчаном пляже Лукоморья, играли в волейбол на площадке между берегом и дачей гостеприимного семейства Бринеров. Вечерами устраивали на пляже огромный костер, а потом танцевали в просторном холле до глубокой ночи. Позднее мы встречались в Харбине. Я останавливался в отеле «Модерн», но часто бывал в доме тех же родственников. Там не обходилось без танцев и разговоров о театральных постановках тети Кати, бывшей актрисы Московского Художественного театра, которые она организовывала в Харбине с участием Наташи. Кстати, Катерина Корнакова-Бринер в прошлом была женой известного в СССР драматического артиста Алексея Дикого.

Вскоре Наташа переселилась в Шанхай, стала работать в газете *Норд Чайна Дэйли Ньюз* и больше в Корею не заглядывала. Хотя заочно мы, конечно, слышали друг о друге.

Прошли годы. Я, волею судеб, проделал нелегкий путь. Советский ГУЛАГ занес меня за Полярный круг, на бе-

рега Северного Ледовитого океана. Потом одиннадцать лет работал в печально знаменитом Магадане. Бывал в Москве, где после семнадцатилетней разлуки встретился с младшим братом, после того как тот тоже преодолел «сталинский университет миллионов». Но не имел представления, где, после всех трагических событий, могли быть сестры Ильины... Как вдруг наш московский родственник Арон Резников поведал, что его бывший преподаватель, профессор А. А. Реформатский, женат на писательнице Ильиной! Мы созвонились, и я приехал в известный дом на улице Черняховского. Встретились без малого через тридцать лет. Обнялись. Наташа познакомила с обаятельным Александром Александровичем. И здесь мы с ней выпили на брудершафт. (Во времена нашей юности молодые люди на «ты» сразу не переходили.) На прощание Наташа спросила: «Как живешь, деньги нужны? Возьми, как брат от сестры!» То был очень трудный период в жизни нашей семьи. Северные накопления иссякли. Втроем жили на одну пенсию, но взять деньги не позволяло воспитание. Однако, по подсказке писательницы, профессор тут же набросал записку другому своему бывшему студенту, известному владимирскому писателю С. К. Никитину. Благодаря этому я оказался в среде местных литераторов и по рекомендации Сергея Константиновича издал свою первую книжку, что послужило началом моей писательской деятельности. С легкой руки подруги юности, дорогой Наташи.

Олег Лундстрем

ПОЧЕМУ МЫ НЕ СТАЛИ НЫТИКАМИ

Наши дороги пересеклись еще в детстве. Запомнились две девочки, лучезарные, улыбающиеся, Тата и Гуля. Позже, когда мы стали постарше, в гимназии, где училась Наташа, были литературно-поэтические кружки, один из них назывался «Чураевка». Мы в то время увлекались поэзией, с удовольствием на эти вечера ходили, и там всегда присутствовала Наташа.

Потом в Харбин пришли японцы. Жизнь стала совсем не той, какой была до их прихода. В 1935 году дорогу продали, и большинство советских граждан уехало на родину. А мы с друзьями еще до продажи дороги организовали оркестр, увлеклись джазом. Это в те годы была большая новинка. Понимали, что в Харбине для нас будущего нет, и перебрались в Шанхай. Каково было мое удивление, когда в Шанхае я встретил Наташу Ильину, — я всегда называл ее Наташей, мы были почти сверстниками. Оказалось, что она работает в газете, стала журналистом. Ильина была лучшей фельетонисткой, пишущей на русском языке, у нее был острый, наблюдательный ум. Мы расхватывали «Шанхайский базар» с ее фельетонами, чтобы вместе посмеяться.

А когда началась война, вся эмиграция, большая часть ее, те, кто не был связан с японцами, немцами, все потянулись в советское консульство. Все решили, что нужно что-то делать полезное. Организовали газету, она называлась «На Родину». Технической базы не было, достали где-то ножной станок. Набор делали китайцы, а потом мы прихо-

дили и добровольно всю ночь эти станки ногой приводили в действие. К утру газета была готова. Мы были молоды, чисты и думали, что делаем хорошее патриотическое дело.

Мы все были разные, у каждого свой характер. Нас с Наташей сближало то, что мы, пожалуй, больше других обращали внимание на профессиональную сторону жизни. Старались свое дело делать хорошо, никогда не задавались сверхзадачами, просто делали то, что умеем делать. Я думаю, это главная причина, почему мы не стали нытиками, почему мы здесь прижились. Нам хотелось вернуться и все, что знаем и можем, принести и оставить здесь, дома. Я уверен, все, что написала Наталия Ильина в своей последней книге «Дороги и судьбы», — это больше чем мемуары в обычном смысле, это что-то новое, и это обязательно должно остаться в литературе, культуре.

Когда мы приехали в порт Находку, около Владивостока, специальная комиссия распределяла, кому куда ехать. Мы приехали всем оркестром, биг-бендом, даже небольшой концерт дали. Они нас прослушали, и товарищ Пискун — даже фамилию помню — предложил на выбор любой город, примерно до Перми, Казани, Уфы. Мы выбрали Казань. А Наташа в Находку приехала позже и сразу спрашивает: а где оркестр? И тоже выбрала Казань. И снова мы оказались рядом. В ее книгах все это есть, я люблю их перечитывать, вспоминать, как ходили друг к другу, советовались, поддерживали, пытались во всем разобраться. Наташа год прожила в Казани. Потом Москва, Литературный институт. Как она была счастлива, что ей, приезжему человеку, дали возможность учиться, как старалась!

Так началась ее жизнь дома, на родине, такая долгая и такая короткая.

Юрий Вронский

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЗНАКОМСТВЕ С НАТАЛЬЕЙ ИЛЬИНОЙ

С Натальей Ильиной я познакомился в 1948 году, поступив, как и она, на первый курс Литературного института. Она мне охотно рассказывала о своей жизни в Шанхае, о том, что эмигранты старшего поколения тосковали по «березкам» и усадебным домам с белыми колоннами, а молодым эмигрантам было наплевать и на «березки» и на колонны — они мечтали об автомобилях. Помню, я про себя удивился: «Как можно не тосковать по домам с белыми колоннами! Что может быть прекраснее?». Хотя я родился в 1927 году и почти не видел тех домов, — они к тому времени были уничтожены, либо властью, либо просто сельскими люмпенами. Автомобилями я тогда интересовался не больше, чем содержимым кастрюль в закрытых кремлевских столовых. Березками же, очень трогательными, в изобилии зарастали безжалостно вырубаемые на экспорт леса.

Рассказывала Наташа о своей журналистской деятельности в Шанхае. Одно время она была замужем, кажется, за чехом, у которого было немецкое имя, чилийское подданство, он был американский коммерсант, а контора его находилась в Шанхае. На его деньги Наташа издавала газету «Шанхайский базар», на русском языке, конечно[1].

[1] По-видимому, речь здесь идет о разных шанхайских друзьях Н. Ильиной. В своих книгах она о них не упоминает. А первым мужем Н. И. был Лев Гроссе, автор нескольких поэтических книг, вышедших

Газета, естественно, была сатирическая и юмористическая — все помнят, каким замечательным даром в этом жанре обладала Наташа. Немудрено, что юная и еще не обтершаяся журналистка из-за своей газеты то и дело оказывалась в весьма неприязненных отношениях с полицией. Ее даже арестовывали. Много лет спустя я случайно увидел стопку «Шанхайского базара» в Литфондовской переплетной мастерской.

Характер у Наташи был решительный, можно сказать, мужской. Она сказала, что к ней под крыло охотно льнут слабые люди. Мне показалось, что она намекает и на нашу с ней дружбу. Она не раз приглашала меня поехать с нею вместе в гости к Вертинскому, которого я очень любил (и люблю до сих пор), но я отказался, не понимая, в какой, собственно, роли я появлюсь у знаменитого Вертинского. Теперь жалею — ведь мог своими глазами увидеть замечательное явление русской культуры.

Меня очень забавляли Наташины отношения с преподавательницей английского. Наташа до смерти боялась, что преподавательница заставит ее сдавать английскую грамматику, в которой была «ни бум-бум», хотя «спикала» вполне свободно. Поэтому на зачетах она превентивно облаивала преподавательницу несколькими фразами на «американском жаргоне», и та, почти ничего не поняв, поспешно брала у нее зачетку и ставила зачет.

Кошмаром в ее учении в Литинституте была необходимость писать конспекты — и записывать лекции в аудитории, и составлять конспекты дома или в читальне по всяким якобы философским работам типа «Что делать?» или «Что такое друзья народа...» Дело в том, что Наташа не умела писать рукой — умела только на машинке, что вполне естественно для западного человека, пусть хоть он и с Востока. Но ведь не притащишь же на лекцию пишу-

---

в 1920-х — начале 30-х гг. в Париже и в Шанхае. Их брак был расторгнут в 1946 году. Лев Гроссе тоже приехал в СССР; судьба его, как и судьбы многих репатриантов, была трагической. — *Прим. ред.*

щую машинку! Вернее, притащить-то можно, да кто ж тебе позволит на ней записывать! Можно было, конечно, попросить у кого-нибудь его конспекты и переписать их, однако дело-то как раз и упиралось в переписывание. Не разрешалось на машинке и составлять конспекты работ всех этих пролетарских вождей, да и не только вождей. Я бы предложил ей переписывать своею рукою, но я, как на грех, очень медленно пишу, трудно даже вообразить, насколько медленно. Из-за этого я, наверно, и сделал за свою жизнь так мало. Наташе, если мне не изменяет память, все-таки пришлось кого-то нанимать.

Однажды я Наташу невольно подвел. Не страшно, не смертельно, но все-таки. Она, сколько я помню, относилась к русскому языку с особенным интересом, и мы с ней иногда разговаривали о языке. На первом курсе Литературного института проходили языкознание, вел его у нас великолепный Александр Александрович Реформатский. Я был еще более невежествен и легкомыслен, чем сейчас, и мне почему-то пришло в голову, что славянизмы, пришедшие, как известно, в наш обиходный язык из Священного Писания, употребляются ныне с ироническим и юмористическим оттенком. Я сказал о своем наблюдении Наташе, она восприняла это серьезно, и, сдавая зачет или экзамен Реформатскому, сообщила ему об этом. Он, конечно, тут же несколькими примерами опроверг сию химеру. Наташа посмотрела на меня от экзаменационного стола без всякой признательности...

Вскоре меня исключили из института, и наше общение прекратилось.

Надеюсь, теперь она уже простила меня.

Ольга Лаиль

МОЯ СЕСТРА НАТАША

«6/19 мая 1914 года в Петербурге на 7-й Рождественской, 13, в квартире мамы и братьев Воейковых родилась моя Наташа. Итак, Наталочка родилась в царский день, утром, и ее приветствовала военная музыка, а около часа дня по Суворовскому прошли солдаты с парада». Это первая запись в «Дневнике Наташи», который вела наша мама Екатерина Дмитриевна Воейкова-Ильина в первые годы Татиной жизни.

И дальше почти ежедневные подробности о том, как Тата, уже в Самайкине, растет, умнеет, и ее болезни (доктор советует прекратить кормление молоком и начать давать ей слабые бульоны и кисели), и тревога мамы, когда она уезжает к отцу в Житомир или в Киев. Наташе уже 16 месяцев, она называет няню Пашу «Пасей», она всех называет по имени и покоряет все сердца. Опять мама уезжает к отцу в Киев, и опять волнение, ребенок остается с няней на попечении родственников, со своим двоюродным братом Юрой и его няней.

«Наталке сегодня 1 год 8 месяцев. Еще птичка невеличка, но часто забываешь, что ей не три года, такая она большая и взрослая по виду. Так много говорит и понимает. Как-то в ее сознание просачиваются не только названия предметов, но и наречия». И дальше: «Тата меня, да и всех продолжает удивлять своей сообразительностью. Она уже начинает разбираться в буквах, в цветах. Постоянные упражнения для этого разбора цветов у нее в бессарабских коврах, в разноцветной моей блузочке». К няне она обращается: «Слушай, няня, смотри, няня, знаешь, няня». Она

уже любит «писать»: выписала своими каракулями имена близких людей, а потом важно начала говорить фразы, совсем как будто диктуя их себе, с расстановкой: дядя Вася есть конфетку, мама читает письмо. Ужасно забавно». И еще: «Она очень мило молится: стоит на коленях, трепыхается обеими ручками, что означает крестное знамение, и серьезно повторяет форму молитвы: Господи, помилуй папу, маму Катю, дедушку, бабушку, дядей, тетей, „Юю“ (это Юра, двоюродный брат), всех солдатиков на войне и меня, маленькую Таточку. Затем следует поклон в подушечку и поцелуй образка. Иногда к обычной молитве добавляет еще отсебятину: Господи, помилуй куклу Нину и книжки». И дальше — приезд мамы из Житомира с папой поздно вечером: «Тата не спала, вылезла из кроватки и ко мне в руки и беседовала с нами об ослике, купленном бабушкой для детей, и т. д. Своего папу она не дичилась, видно, много слышала о нем, о его приезде. С бабушкой она была в страшной дружбе».

Петроград, 1916 год, и опять болезнь Таты, визит доктора, диета: шпинат, овощи, фрукты и прочее. «Во время торжественных похорон жертв революции в Петрограде Тата с няней ходила на Суворовский смотреть „красные флаги“ и вернулась в страшном азарте, призывая нас всех смотреть процессию. Мы снарядились идти, ходили по Суворовскому, смотрели красные флаги, процессии, слушали революционные песни. Тата шлепала по лужам, вероятно, сильно промочила ноги, дома их ей не натерли, так как сапожки снимала Маша. В результате простуда, насморк и кашель».

Петроград, 1917 год. Тата уже большая девочка, через месяц ей три года. «В большой дружбе со всеми обитателями нашей квартиры, бабушкой, дядей Димой. Увы, нет дяди профессора. Этого замечательного человека, такого милого и уютного дома, такого невзыскательного». Спокойное детство подходит к концу. Отъезд из Самайкина, Сызрань, Самара, Омск, где мама заболевает тифом, и ее увозят в больницу, и Таточка, кричащая: «Маму увозят,

маму мою увозят». Эти крики спасли мою жизнь, любила говорить наша мама. «Я не могу умереть, у меня дети», — повторяла она при большом жаре. Тата была с няней Пашей, которая умерла в Харбине, на наше горе, и мама часто с грустью говорила: «Не уберегли мы ее».

Первые Наташины годы были несомненно счастливыми: маленькая девочка, окруженная заботой мамы, няни и всей семьи. Наташа помнила какие-то моменты жизни в Самайкине и любила мне об этом рассказывать. Она была шустрым и умным ребенком и, конечно, любимицей семьи.

Мои воспоминания начинаются с Харбина, и в моем детстве Наташа играла большую роль. Я была горда своей старшей сестрой. Наташа хорошо училась, все знала, была любимицей мамы. У нее было много подруг, и она мне рассказывала разные интересные истории. Правда, иногда она меня запугивала, выдумывала какие-то приключения со шкатулкой с драгоценностями, которую она спрятала, и если я буду пай, она мне ее покажет, и много других историй, которым я верила. Она, наверное, знала, что будет писательницей, и свое мастерство рассказчицы пробовала на мне.

Судьба нас разделила после Шанхая, где я прожила три года и часто виделась с Наташей, хотя мы жили врозь: я с мамой, а Наташа уже самостоятельно. Потом разлука на 18 лет. Наташа уехала в Советскую Россию, и мы были разлучены. Мама приехала в Москву позднее, только в 54-м году, уже после смерти Сталина, и тогда началась наша переписка. И наконец моя первая поездка с Вероникой и с маленькой Катей в Москву. С тех пор мы снова могли видеться, и Наташа узнала моих девочек и их полюбила.

Передо мной лежит письмо-картинка, нарисованная Наташей. Кате 12 лет. «Поздравляю тебя, моя крошка. Я по тебе скучаю. Жду в августе. Ты прилетишь ко мне (нарисован самолет). Мы будем ездить на нашей машине (нарисована машина). А бабушка в мае поедет на парохо-

де (нарисован пароход). А это цветы ко дню твоего рождения (нарисованы цветы в вазе). Все дети тебя помнят и ждут. Маша пишет тебе письмо. Целую тебя и люблю. Тысячу раз твоя Наташа».

Первый раз мы были в Москве в 1961 году, когда стало возможно ездить «частникам». Это было наше первое свидание с Наташей и с мамой. Мои девочки говорили по-русски, что не было удачно: когда мы проходили таможню и таможенник спросил, нет ли у меня русской литературы (т. е. эмигрантской), я не моргнув глазом сказала, что нет. Маленькая Катя тут же вмешалась в разговор: «У тебя есть русские книжки». Она думала, что говорят про ее книжки, которые в то далекое время я ей читала. Конечно, меня заставили открыть чемодан, и там были книги, которые Наташа просила привезти: Набоков-Сирин, и еще какие-то ни в чем не повинные русские эмигрантские писатели. И таможенник все отобрал. «Небось, сам читать будет», — сказала моя сестра, когда узнала об этом.

В первом же письме после нашего отъезда из Москвы Наташа написала: «Очень крепко целую тебя, сестренка, и дорогих моих девочек, которые одна лучше другой, каждая в своем роде, и обе занимают прочные места в сердце стареющей, но не сдающейся тети Наташи. Большой привет Морису».

В этот приезд девочки познакомились с бабушкой. Для меня была радость увидеть маму после такой долгой разлуки. Гостиница «Украина» находилась в том же районе, где жила мама. Через год мы с Катей приехали уже по приглашению и жили в квартире у Наташи. Вероника тоже была в Москве со студенческой группой. На следующий год Вероника опять приехала со студентами. Наташа пишет: «Чудные у тебя девочки, я их люблю как своих. Тебя тоже люблю, дорогая моя сестренка».

Наташа рассказывает в одном из писем: «Получила письмо от Катеньки, моей любимой малютки, и спрашиваю у Александра Александровича: почему Вероника писала лучше, чем Катя в 11—12 лет? Он отвечает: ясно, по-

чему. Вероника будет научным работником, а кем будет Катенька, пока неизвестно. Но вряд ли она отличится в науках...» И дальше Наташа пишет: «Только не говори этого Кате, а то она надуется, покраснеет и заорет: „Ты пльохая“».

Наташа была очень огорчена, когда узнала, что Морис должен ехать в Африку, в Габон, и мы с Катей с ним, а Вероника останется в Париже, ей надо продолжать учебу. Наташа пишет Веронике: «Я вас очень всех трех полюбила, маму-то я и раньше любила, и ваши огорчения стали моими».

Известие о смерти мамы, бабушки моих детей, мы все перенесли тяжело. Но тяжелее всех было Наташе, ведь она ее видела почти каждый день или говорила с ней. К счастью, моя мама успела увидеть своих внучек. Но не успела познакомиться с Морисом — он приехал в Москву только через год после ее смерти. Наташа тогда упрекала себя в том, что была не всегда внимательна к маме. Как мы все и всегда невнимательны к старым людям, а потом поздно это поправить.

Год 1976. Катя собирается в Москву к тете Наташе. У нее будут экзамены, и русский язык в программе. Мы в это время живем в Лондоне. Наташа пишет письмо Морису по-французски. Последние годы Наташа изучает французский, и как всегда все, что она задумала, идет по плану, по часам, и она делает большие успехи в этом языке. В письме она с юмором описывает разговор с Катей. Как она приглашает Катю в Москву и говорит, что русский язык ей необходим, это язык ее предков, а Катя колеблется, где же я буду жить, и по всему видно, что она боится русского дискомфорта. Наташа тогда нашла для нее квартиру друзей, в том же доме и в том же подъезде, где Катя могла ночевать, и Катя приехала и провела несколько недель в Москве. Даже Александр Александрович старался угодить Кате, и когда она спрашивала в выходной день, а куда мы пойдем, все суетились и старались придумать, чем занять девочку.

Жизнь у Катюши получилась трагичная, к счастью, Наташа не дожила до дня, когда Катины дети, оставшись в Германии, были похищены мужем. Сестра все заботы нашей семьи принимала к сердцу, и это нас еще больше сближало.

А как Наташа мне помогала с моими туристами! Я стала организовывать поездки в Советский Союз, надеясь, что таким образом я смогу видеть свою сестру и привозить ей нужные вещи, которые в то время нельзя было купить простым смертным в СССР. А потом мне стало интересно путешествовать по России, и Наташе также было интересно видеть новых людей, с которыми она могла говорить по-английски, а потом и по-французски. И мы могли видеться два раза в год, да и она часто приезжала к нам в Париж и в Лондон. Здесь у нее были знакомые, которые ее принимали, и ей была интересна наша жизнь.

В Англии она обязательно хотела посмотреть места Диккенса. Лондон, который она знала по английской литературе, был ей очень интересен, особенно окрестности. Она любила наши туристические поездки и визиты к друзьям в другие города. Однажды мы были приглашены английскими друзьями на уик-энд, поехали поездом в пятницу вечером после рабочего дня моего мужа. Друзья послали за нами машину с шофером на вокзал. Роскошный «роллс-ройс» не произвел на Наташу никакого впечатления. Она не была способна на *small talk*, не хотела терять время на такие глупости. Зато ее очень огорчало, что новые ее знакомые англичане и французы не читали и даже никогда не слышали про таких поэтов, как Анна Ахматова и Марина Цветаева.

В Париже одна моя приятельница пригласила нас на *drink*. Горничная открыла нам дверь и провела в гостиную. Наташа окинула взглядом ковры, картины, Будд из нефрита, драгоценные безделушки и сказала: «Бедная N, она живет одна в этом люксе» (приятельница моя была одинока). И в голосе Наташи было столько непритворного сочувствия этой бедной богатой женщине.



Дружеский шарж Евгения Шухаева

Наш общий друг Вова Кандауров пригласил Наташу и меня на ужин в ресторан. В то время Наташа еще не говорила по-французски, и я занимала разговором жену Вовы, которая не говорила по-русски. Это было трудное занятие, Жанэт хотела знать, о чем с таким азартом спорят Вова и Наташа. Чтобы как-то привлечь внимание моей сестры, она вынула из сумочки пудреницу из золота (действительно прелестную) и протянула Наташе: «А у вас есть такая?». Наташа посмотрела на меня и спросила: «Зачем она мне это сует?».

Характер у моей сестры остался прежний. Мы так долго были в разлуке, столько лет я жила самостоятельно, но едва нашли друг друга, и она опять стала меня «снобировать» как свою младшую сестру. Это сердило меня часто, когда она мне не давала сказать слова. Я даже жаловалась на нее друзьям. Но Наташу спасал юмор. Стоило ей заметить, что я сержусь, и она все превращала в шутку.

Трогательно было, что она всегда хотела познакомить меня со знаменитыми людьми, своими друзьями. Незабываемый день мы провели с Наташей и Катей в Комарове у Анны Ахматовой. Анна Андреевна мне надписала свою книгу (Наташа заранее взяла книгу из дому, чтобы у меня была память об Анне Андреевне). Несколько раз она меня возила к Корнею Ивановичу Чуковскому, и я рада, что была знакома с этим замечательным писателем. А наши вечера (когда пришло время и я могла жить у нее, а не в гостинице) на кухне с Наташиными друзьями, они стали и моими друзьями, и бесконечно интересные московские разговоры... И о чем бы, даже о самом серьезном, ни шла речь, моя сестра умудрялась нас всех рассмешить.

Вернувшись в очередной раз из Парижа, Наташа написала в одном из писем: «Мне с тобой просто и легко. Мы с тобой можем, не рискуя обидеть друг друга, говорить, что хотим. Я даже и гавкнуть на тебя могу — спа-

2. Заказ № 718.

сибо тебе, милый мой, что ты это переносишь так просто, без обид. Нет у нас с тобой комплексов — не та была жизнь, чтобы в себе растить и холить комплексы! Пожалуйста, скажи Морису, что я его очень люблю и тоже бесконечно ему благодарна. Будь добра и внимательна к Морису. Ради Бога, суетись меньше — прости за эти наставления старшей сестры».

Большим горем стала для Наташи смерть ее давнего друга Надежды Михайловны Жарковой. Она умерла в Переделкине в Доме писателей, где она проводила лето, в день, когда Наташа приехала ее навестить. Обычно она ждала Наташу на скамеечке в саду и не дождалась, умерла за несколько минут до ее приезда. Мы все, Вероника, Катя и я, любили Надю, тетю Надю. Когда я приезжала, она обязательно мне совала деньги, рубли, на мои расходы, чтобы я свои доллары не меняла, и отказать ей не было сил. И принимала она нас, Наташу, меня и кого-нибудь из друзей, и всегда был чудный пирог — специальность Нади. Но она не только умела печь, она была очень начитанный, умный и остроумный человек и все понимала. Наташа и она любили цитаты. Наташа звонит Наде накануне операции (операция ступни): «Ну что же, Надя... Завтра казнь, но без боязни мыслит он о страшной казни». И Надя мгновенно добавляет: «Наркоза не боится он».

Опять большое горе: смерть Орика, Ореста Георгиевича Верейского. Когда умерла мама, Наташе было очень тяжело — и потому что мы далеко, и потому что мама умерла когда Наташи не было рядом. Вспоминая эти дни, она всегда с особой нежностью и благодарностью говорила о своих друзьях, о Наде, Вове, Люсе и Орике: «Как добры они были ко мне, никогда этого не забуду».

Когда я приезжала в Москву, с группой или одна, и должна была жить в гостинице, так как приезжать по приглашению было всегда очень сложно, Наташа всегда беспокоилась, если я поздно возвращалась, и я ей обяза-

тельно должна была позвонить: «Вот я дошла, я в своем номере». Эта ее забота трогала и иногда сердила меня. А сейчас, когда ее нет, и никто обо мне не беспокоится, и никто не называет меня Гулей, мне грустно.

Я думаю, что Наташа была бы довольна успехом своей старшей племянницы, тем, что она стала научным деятелем, — Александр Александрович сразу понял, что Вероника далеко пойдет, — и тем, что ее мальчики умны и работяги, и что все у нее благополучно. У Катюши тоже, после горя и тревог и потери связи с детьми, радость: старшему сыну исполнилось 18 лет, и он и его брат приехали повидать мать. Наташа была бы счастлива узнать, что Катин муж англичанин, что он был послом, и что Катя как будто создана быть женой посла, эту роль она так хорошо исполняла, и сейчас она продолжает заниматься политикой. И что Катя живет в Англии, в Лондоне, в стране, которую Наташа так любила, стране Диккенса и ее любимых английских писателей.

Наташа любила беседовать с Морисом по-французски в последние годы (вначале они говорили по-английски), она ценила его культуру, его доброту и хорошее отношение к русским родственникам. В московской квартире, которую Наташа оставила нашей семье, мы с Морисом бываем несколько раз в году. В этих комнатах все осталось как было: книги, фотографии на стенах, портрет Мусиной-Пушкиной, который она любила. Здесь все напоминает о сестре, и я часто беседую с Наташей, рассказываю ей о нас. Наташа не узнала, что недавно я тоже написала воспоминания о своем детстве и молодости, в том же Харбине и Шанхае, а потом в Пекине и Индокитае, где Наташа не была. Я знаю, что она была бы, как всегда, строгим моим критиком.

В Париже мне многое напоминает о сестре. Кассеты со старыми фильмами, которые Наташа любила смотреть, до сих пор хранятся в доме. Помню, как она обрадовалась фильму «Унесенные ветром» с Вивьен Ли, ведь она уви-

дела этот фильм впервые в Маньчжурии. Когда я хожу на наш базар в квартале *Auteuil*, я смотрю на скамейку, где Наташа любила отдохнуть, потому что дорога идет немного вверх. Раньше я этого подъема не замечала, а теперь все чаще думаю, что Наташа была права.

Вероника Жобер

ТЕТЯ ИЗ МОСКВЫ

Дяди из Америки у меня никогда не было, зато была тетя из Москвы. А точнее — тетя, живущая почему-то в Москве, в Советском Союзе. В Париже все это звучало довольно экзотично в начале 60-х годов (Боже мой, прошлого века!). На расспросы дотошных французов, из Москвы ли родом моя русская семья, приходилось отвечать, что нет, из Петербурга, то есть Ленинграда, хотя на самом деле нет, скорее из Симбирска, где-то там на Волге, где находилась семейная усадьба. Так начались мои собственные «уроки географии»[1], завершившиеся (много лет спустя!) ознакомлением с теми родными для нашей семьи местами.

Из произведений Наталии Иосифовны почему-то мне особо запомнились две публикации, а скорее два заголовка: «Мои продолжительные уроки» и «Уроки географии». Не потому ли, что они отражают одну присущую Наталии Иосифовне черту — ее стремление вечно учиться? Оказывается, автору, по настоянию редактора, пришлось в первой журнальной публикации[2] переменить название своего рассказа «Уроки географии» на «Дом на берегу океана». Сейчас смешно даже подумать, какими цензурными соображениями мог в данном случае руководствоваться редактор. Не без иронии называвшая самое себя «топологической кретинкой», Наталия Иосифовна глубоко уважала научный склад ума, которого она себя считала (не

---

[1] *Н. Ильина.* Дороги и судьбы. М.: Московский рабочий, 1991. С. 496—533.

[2] *Н. Ильина.* Дом на берегу океана // Октябрь. 1982. № 10.

без основания) лишенной, и всю жизнь стремилась чему-то научиться, что-то новое познать. «Первая ученица» — так насмешливо ее называл муж, Александр Александрович Реформатский, такой ее запомнила ее учительница французского языка, занимавшаяся с ней на протяжении многих лет. А Наталия Иосифовна по этому поводу ехидно отметила, что не все западные русисты в совершенстве владеют русским языком, если спокойно переводят *first*[1] *pupil*, не понимая переносного смысла этого прилагательного. А еще добавим, что тень нашего знаменитого предка Александра Ивановича Воейкова, географа-климатолога, видимо, тоже осенила ее творческий путь.

На самом деле ее желание чему-то научиться, вникнуть в суть дела, в глубину проблемы всегда было связано с каким-то душевным порывом. Толчком неизменно служило психологическое переживание, вызванное общением с кем-то новым, открывавшим ей дотоле неведомые или непонятные истины. Именно знакомство с моей другой родной теткой, в какой-то мере ее соперницей, сестрой моего французского отца, заставило ее задуматься над превратностями человеческих дорог и судеб на разных широтах и долготах земного шара.

Но воспринимала она и использовала для себя только то, что ей нужно было в данный момент. Она никогда не теряла из виду свою цель, шел творческий процесс, который поглощал все ее внимание. Не от того ли ее всеми замеченная и озадачивающая черта — резкость по отношению к некоторым людям, нетерпение и нетерпимость, нежелание тратить свое время на ненужное ей в данный момент. В этом один из многочисленных парадоксов ее личности. Ведь, с другой стороны, она была очень общительной, радушной, расположенной к другим. Та железная дисциплина, пунктуальность, обязательность, которыми восхищались ее русские друзья, не привыкшие к таким добродетелям на родине, не были, как мне кажется, врож-

---

[1] В смысле «первая по счету» ученица.

денными ее качествами. Она знала цену времени, приехав в Советский Союз опять учиться, начинать все заново, будучи уже далеко не молодой. А еще она понимала свое врожденное легкомыслие (унаследованное от отца), глупую восторженность, необдуманные порывы, способные ее увлечь в сторону и сбить с дороги. Итак, ее несомненная общительность, задушевность, искренние, порой глупые порывы, небывалая наивность, сочетались и с резкостью, нетерпимостью, которые многих пугали и от нее отталкивали. До сих пор помню ее собственный рассказ о том, с каким трепетом, заискиванием, с какой осторожностью моей троюродной сестре из Ленинграда пришлось добиваться у нее моего адреса в Париже, а позднее как она их семью неохотно впустила в свой дом в Москве.

С другой стороны, когда я в начале 93-го года на Птичьем рынке в Москве потеряла свою заветную записную книжку и каким-то чудом с нами по телефону связался старичок Иван Васильевич, нашедший ее брошенную в лестничном пролете своего дома, мне не без труда удалось ее устепенить и урезонить. Она никак не хотела поверить, что милый этот человек отлично понимает значимость своей находки для иностранной обладательницы этого никому не нужного предмета. Его готовность на следующее же утро спозаранку (сославшись на то, что в тот день свадьба племянника) явиться к нам ее умилили и уверили в природной честности русского народа. Я сумела все-таки ее уговорить, что необязательно приглашать Ивана Васильевича на кухню и кормить завтраком. Зато необходимо преподнести бутыль водки к вышеупомянутой свадьбе да приготовить конверт с денежным вознаграждением в СКВ (тогда термин «у. е.» еще не был в ходу). После ухода моего благодетеля, который принес заветную книжку, бережно и трогательно завернутую в газетную бумагу, Наталья Иосифовна долго меня корила. Старик наверняка обижен тем, что мы ему всучили доллары. Последовавший вскоре звонок заставил ее расстаться со своими иллюзиями! Иван Васильевич горячо благодарил, велел записать

его адрес и телефон и непременно ему позвонить в случае, если я еще что-нибудь потеряю...

Привыкшая учиться, она считала своим долгом учить и других. Это были не назидательно ханжеские нравоучения à la soviétique[1], но искренние порывы что-то передать в наследство, поделиться своими знаниями, своими убеждениями. Ей не хотелось тратить впустую время, и поэтому любое общение должно было быть обоюдно насыщенным. *Small talk*, то есть пустой болтовни, она не терпела. И теперь, через десять лет после ее смерти, мне так же остро не хватает ее бдительного, ничего не прощающего слушания. Любое неправильное ударение, любую грамматическую или лексическую ошибку она немедленно у меня подмечала и, к моей радости, тут же поправляла (и ждала от меня того же самого, когда она говорила по-французски). Благодаря этому я знала и чувствовала, что иду вперед, что с каждым годом совершенствую свое знание русского языка. Она была, в сущности, очень требовательной к другим, ибо была не менее требовательна к себе. Как хорошо я понимала ее раздражение (особенно при мне, естественно), когда она говорила чуть хуже по-французски, чувствовала себя скованной и не могла блеснуть красноречием, как ей это удавалось запросто на русском языке. Ведь и мне труднее было безупречно излагать свои мысли, чувствуя, как она неустанно следит за любой погрешностью. Вот эта педагогическая жилка, которую Наталия Иосифовна не использовала в профессиональном плане, мне весьма близка, тем более, что мне именно она и пригодилась в жизни.

И вот сейчас, работая над семейным архивом, читая и расшифровывая изумительные письма моей прабабушки Ольги Александровны Толстой-Воейковой (1858—1936), я понимаю, что в нашей семье немало педагогов, прирожденных или ставших ими в силу сложившихся обстоятельств: и бабушка Екатерина Дмитриевна, и ее сестра

---

[1] По-советски (*франц.*).

Мара, и ее младший брат Ваня... Все они в той или иной мере преподавали, передавали свои знания другим.

Ее московские друзья, которых я от нее унаследовала (и это, пожалуй, вместе с ее архивом, наиболее ценный подарок мне), ее уважали. Они явно преклонялись перед ней за ее независимость, свободомыслие, чувство собственного достоинства. Мне это было трудно понять, а саму Наталию Иосифовну порой смущало, но, главное, заставляло задумываться. «Вас здесь не стояло», любила она повторять ахматовские слова, понимая, что самые мудрые ее «учителя», та же Ахматова, или Реформатский, прощали ей наивное бесстрашие, навеянное непониманием творившегося в стране, и знали ему цену. Наталья Иосифовна не раз вспоминала, как она подводила своих товарищей в Литинституте своими дурацкими выступлениями, каверзными вопросами, заданными ею преподавателям. И, конечно, все помнят, что она часто повторяла: «Какая я тогда была дура!». Сейчас уже у меня в памяти все смешалось, не помню, кто, она ли сама, или ее двоюродная сестра Екатерина Дмитриевна Воейкова, рассказывала о 1948 годе. Это был первый после возвращения из эмиграции приезд Наталии Иосифовны в Ленинград, в семью родного дяди, расстрелянного «врага народа». Только что были отменены карточки на хлеб, и она с энтузиазмом приветствовала эту меру. Наталия Иосифовна восторгалась образцовым порядком очереди (которая выстраивалась ночью) за хлебом, тем, как сменялись один за другим все члены семьи, от старухи-бабушки Жуковской[1] до младшего внука, и с энтузиазмом писала об этом матери в Китай. Разъяренная ее глупым и неуместным восторгом, Анна Алексеевна Жуковская как-то ехидно спросила: «Скажите, Наташа, ваша сестра Ольга такая же большевичка, как вы?»

Да, тот факт, что она провела детство и юность вне Советского Союза, оставил глубокий отпечаток в ее манере

---

[1] *Анна Алексеевна Жуковская* — теща Дмитрия Дмитриевича Воейкова, родного дяди Наталии Иосифовны, погибшего в 1938 г.

держаться, и в ней чувствовалась не-советскость. Ей было с чем сравнить, и поэтому она так резко реагировала на всякие беспорядки, бестолковость, бесхозяйственность, которые высмеивала с таким талантом в своих фельетонах. Она была к этому способна по своему природному расположению, но также в силу своего заграничного воспитания. Ее возмущение советскими идиотскими порядками, заключающимися, в частности, в вечных очередях, приводивших к страшной потере времени и оттого к неэффективности всей системы, было естественно. Дойдя своим умом до понимания того, что впрямую с этим бороться нельзя (в Казани-то в 1948 г. она наивно пыталась еще внести свои усовершенствования[1]), Наталия Иосифовна с блеском использовала свой прирожденный дар фельетонистки. Ее умение с юмором оценивать происходящее вокруг не покидало ее никогда, ни при в каких обстоятельствах. Она любила смешить других и сама любила смеяться. Она не пропускала никакой возможности прочитать по-французски (а заодно и учиться!) Даниноса или трудные фельетоны Клод Саррот, дочери знаменитой Натали Саррот. Она очень быстро определяла у других способность понимать юмор. И те, кто был лишен чувства юмора, были ей чужды. А настоящее чувство юмора отнюдь не равноценно способности громко смеяться. За зычным хохотом некоторых слушателей она часто безошибочно определяла, в сущности, полное отсутствие чувства юмора. Все помнят, как она умела разрядить атмосферу какой-нибудь шуткой, смягчить тем же какое-нибудь резкое, ею же произнесенное высказывание. Она ценила юмор моего мужа, который однажды ее рассмешил до слез, изображая в лицах старческий маразм ее старого друга Вовы Кандаурова. В ее архиве я нашла экземпляр семейной компьютерной стенгазеты, набранной (на первом нашем компьютере!) и сочиненной моим младшим сыном Колей, *Le petit*

---

[1] См.: *Н. Ильина*. Моя неведомая земля // Дороги и судьбы. Там же. С. 273.

Jobert[1]. Она также сохранила написанные моим мужем «Правила пользования» общественными местами (то бишь сортиром и душевой) на нашей первой даче в Ля Боле.

Но она не готова была смеяться над всем! В этом проявлялось то, что я бы назвала ее русскостью, что меня иногда озадачивало и даже, откровенно говоря, порой раздражало. Ее русский патриотизм, в лучшем смысле этого слова, конечно, заставлял ее как-то обособлять Россию, русскую историю, русскую культуру. Попадая к нам во Францию, она продолжала, как Достоевский, Тургенев, жить Россией и сама слегка над собой по этому поводу подтрунивала. Молодой студенткой я посмотрела в Москве фильм «Черный монах» и небрежно сказала, что фильм занятный. Последовали негодующие возгласы о том, что это великое произведение русской классики, какая тут может быть «занятность»! В другой раз на ее предложение купить мне в подарок какую-нибудь пластинку я попросила «Лебединое озеро» Чайковского. Получила «Ромео и Джульетту» Прокофьева с длительными объяснениями, что Прокофьев куда лучший композитор, чем Чайковский, который на Западе зря считается самым «русским» композитором. Уже в перестроечное время я долго спорила с ней по поводу Андрея Сахарова и Вацлава Гавела. Она ни за что не хотела согласиться с тем, что жизненный путь чешского президента такой же героический, как путь известного советского физика.

Вспоминая долгие годы нашего близкого общения и настоящей дружбы «на равных» (последние свои книги она мне именно так и надписывала: «Веронике, моему другу»), я пришла к убеждению, что все парадоксы ее личности, шероховатости ее характера, неоднозначность (да простит она мне это ненавистное ей слово!) ее поведения объясняются ее неспособностью к равнодушию. Она увлекалась постоянно, до конца своей жизни интересовалась всем, до известного и столь распространенного старческого равно-

[1]«Пти Жобер», то есть «Маленький Жобер» (*франц.*).

душия она, слава Богу, не дожила, и чувствовала себя ответственной за то, что происходит в мире и, в частности, в ее стране.

В ее подсознании шел длительный процесс переосмысления всей ее жизни и, естественно, ее творчества. Исчерпав все запасы сатирического жанра, которые, собственно, и открыли ей дорогу в литературу (ведь от романа «Возвращение» она отказалась, как от заказного опуса, всего лишь позволившего ей поступить в Союз писателей), она, начиная с 70-х гг., посвятила себя главным образом автобиографической прозе и очень настаивала на этом определении, не принимая названия «мемуары».

«Человек должен ощущать свои корни, сознавать свою связь с прошлым»[1]. Возвращение Наталии Иосифовны в СССР в 1947 г. (о котором она никогда не сожалела, хотя прекрасно понимала, что по сравнению со многими другими репатриантами ей просто повезло, ведь она избежала лагерей, в отличие, например, от ее друга Валерия Янковского) объясняется именно этим ее убеждением. Я бы добавила от себя, что поиски корней — в случае с Россией еще более насущная потребность, если учесть, какие потрясения пережила страна, какие страдания выпали на долю ее жителей. Приходится по крохам собирать и восстанавливать то, что было так тщательно сокрыто, оболгано, уничтожено в памяти людей.

Я понимаю теперь, что моя родная тетка Наталия Иосифовна сумела привить и мне интерес к родине моих предков и приобщить к русской культуре. Не имея детей, она хотела все же оставить свой след в истории, считая, что дети не обязательно продолжают дело родителей. Став писательницей в России, она сумела осуществить эту главную свою мечту. Найти читателя, слушателя, вызвать в публике отклик — вот что было для нее самым ценным. Больше всего ее всегда радовали бесчисленные письма читателей из самых порой глухих мест, выражающих свой

---

[1] *Н. Ильина*. Дороги и судьбы. С. 38.

восторг и благодарящих за «реанимацию» предков. И на самом деле, было чему удивляться мне, приезжающей из Франции, где я никогда не наблюдала такого читательского интереса к живым писателям. Да и будущей русистке было над чем задуматься. Несмотря на застой, цензуру, в стране, оказывается, существовало общественное мнение, и оно даже находило какие-то способы выражения.

Позже, под конец своей жизни, уже в перестроечное время, Наталия Иосифовна начала писать книгу «Второе возвращение», чтобы подвести итог своего жизненного пути. Раздражали недоуменные вопросы «племени младого, незнакомого» — молодых журналистов и репортеров, не понимавших, КАК она могла вернуться в эту страну ТОГДА, в 1947 году.

В начале 90-х годов, чувствуя, что ей не так уж долго оставалось жить, она мне сделала бесценный подарок — отдала оригиналы писем моей прабабушки Ольги Александровны Толстой-Воейковой. Это сотни писем, написанных из Советского Союза в 20-е и 30-е годы, составляющих не только подробнейшую семейную хронику, но и документ эпохи, целую страницу истории страны. Помню волнение Наталии Иосифовны, когда я выразила желание поехать в бывшую Симбирскую губернию, туда, где в Сызранском уезде когда-то находились семейные усадьбы Толстых, Воейковых, Мертваго, Ушаковых, Мусиных-Пушкиных с поэтическими и загадочными названиями: Каранино, Самайкино, Репьевка, Жедрино, Золино, Сколково... К нашему общему удивлению и большой радости, оказалось, что хотя усадеб уже давно нет, эти названия сохранились, даже не менялись в советское время.

При ее жизни моя мечта не осуществилась. Мы с младшим сыном Колей в 1993 году совершили круиз по Волге, но доплыли, увы, только до Нижнего Новгорода. Зато в тот последний год ее жизни она сблизилась со своим внучатым племянником, прониклась симпатией и интересом к нему, вела с ним серьезные взрослые разговоры на равных на литературные и философские темы. «Мой юный

друг», писала она ему за несколько дней до смерти. И, пожалуй, одной из ее последних радостей было письмо, написанное Колей по-русски, полученное уже в больнице к Новому, 1994-му, году.

Вот сейчас, когда ее уже нет, — а так хотелось бы рассказать ей о наших поездках по симбирской земле, предвкушая ее интерес и волнение — она-то слушать умела! — особенно остро ощущается эта потеря. Кто еще, кроме нее, оценил бы в должной мере восторженное восклицание Коли в Самайкине в августе 1999 года: «Да это рай на земле!». А фотография Коли с кирпичом (из фундамента бывшего барского дома) непременно бы нашла свое место под стеклом на маленьком столике в ее спальне. Разве это не «Третье возвращение» нашей семьи на землю предков?

Январь 2004 г.

Екатерина Мейер

ОНА БЫЛА МОИМ ДРУГОМ

Писать про свою тетю мне нелегко. Не столько из-за того, что она была сложной личностью, — хотя, мне думается, как и все великие люди, она была именно такой, — но просто потому, что я ее знала прежде всего когда была маленькой и к ней часто ездила. Воспоминания детства часто со временем искажаются, но в любом случае они оставляют свой след. А Наташа, без всякого сомнения, оказала на меня огромное влияние!

Когда я была маленькой, мы с мамой регулярно навещали Наташу, и мне очень нравились наши поездки в Москву. Но больше всего я любила побыть с Наташей. Она была страстной, решительной и глубокой, но кроме того она владела наилучшим из качеств — у нее было потрясающее чувство юмора. Если посторонним могло казаться, что она воспринимает себя всерьез, на самом деле это было не так: Наташа умела смеяться над собой, как и над другими. И это, пожалуй, ее самое ценное качество.

Ее друзья тоже были особыми людьми. Она умела их выбирать, и меня всегда трогало, как они ее любят и уважают. Будучи еще ребенком, я понимала, что тетя Наташа необычный человек не только в наших глазах, но и в глазах других.

Не проходило вечера без того, чтобы не заглянул на огонек кто-нибудь из ее друзей — писателей, дипломатов или ученых — на чашку чая. Мы все тогда собирались за ее маленьким кухонным столом. Велись страстные и оживленные дискуссии. Чувствовалась какая-то безнадежность, жалость, пили много водки, но все кончалось

смехом, а мне, маленькой девочке, разрешали принимать в этом участие. Зато дома я этого не могла делать. Поэтому я так любила эти вечера, больше всего на свете. Сегодня мне так хотелось бы вспомнить какой-нибудь из тех анекдотов, которые меня смешили точно так же, как и взрослых, несмотря на мой молодой возраст и тот факт, что я тогда еще вина не пила.

Столько моментов, связанных с тетей Наташей! Сейчас они стерлись из памяти, не вспомнишь ни когда, ни где это было. Но что их объединяет, это чувство возбуждения и насыщенности. Я, например, помню наши поездки на наташиных «жигулях» на Красную Пахру. Она сидела за рулем, мама на переднем месте, а я сзади. За окном обычно было очень темно. Чувствовалось какое-то напряжение. Мне было велено не раскрывать рта в случае, если нас остановит милиционер (в те годы иностранцам запрещалось ездить за 30 километров от Москвы). Чувство приключения для девяти- или десятилетней девочки, выросшей на Западе, было захватывающим. И если моя мать, естественно, нервничала с связи с нашей незаконной экскурсией за город, то тетя Наташа вполне понимала мое возбуждение. Дни, проведенные на Красной Пахре, были всегда радостью для меня. Я почти всегда была единственным ребенком на этих сборах, но я всегда испытывала огромное счастье.

У Наташи не было детей. Я думаю, что она об этом жалела. Но как она умела найти к ним подход! Да, конечно, она постоянно надо мной смеялась, что меня порой бесило. Но она умела слушать. Она не была из тех взрослых, которые не считаются с детским мнением, как будто это не имеет никакого значения ни для кого. За это я ее любила. Она была моей тетей, но уже ребенком я ее считала своим другом.

Потом жизнь для каждого из нас пошла своим чередом. Мы с мамой уже не ездили в Москву вместе. И я стала встречаться с Наташей только изредка. Наши жизненные пути разошлись. Нас разделила география. В по-

следний раз я ее видела много лет назад. А сейчас я ее уже никогда больше не увижу. И это наполняет меня грустью.

В этом, вероятно, и заключается грустная особенность взросления: каждый из нас идет своим путем. У каждого своя дорога. Но Наташа всегда сохранит на этом пути свое особое место, и мне грустно без нее. Да хранит ее Господь! Когда-нибудь мы все воссоединимся, и тогда у нас будет полно времени, чтобы обменяться мнениями и чувствами.

(*Перевод с английского Вероники Жобер*)

Ирина Коммо

«Я АРИСТОКРАТКА»

Мне 18 лет, мы с тетей Наташей только что пообедали вместе в ресторане Союза писателей. Сидели вдвоем за столиком под темной резной дубовой лестницей.

«А вон сидит Андрей Вознесенский. А там вчера сидел Окуджава...» Я только что окончила первый курс Сорбонны, и для меня находиться в одном помещении с этими поэтами так же невероятно, как если бы мне сказали, что рядом живые Виктор Гюго и Булгаков. Я рвусь в мир взрослых, я заворожена всеми образами страны моих предков, о которой я знаю больше по книгам, по газетам и понаслышке. Я понимаю, что мир взрослых, Советский Союз, вечная Россия, общество творческих людей, все это сложно. Можно без конца смотреть и, собственно ничего не увидеть, не осмыслить до конца. Я горда тем, что тетя Наташа, которая в нашей семье пользуется таким авторитетом, известный писатель и остроумная до слез женщина, уделяет именно мне внимание и время. Собственно, родственных связей у нас не было, просто многопоколенная дружба между нашими семьями, несмотря на войны, революцию и эмиграцию. Мои предки уехали в Европу, ее — в Китай. Тетя Наташа сразу определила, что я ее друг. Определяла всегда она, какой у нее будет тип отношений. «Мой друг, дай мне мои сигареты, они лежат там, в шкафу, вот, открой левую дверцу, нет, не ту, ну какая же ты глупая, да, спасибо». Я действительно была ее другом, именно другом, а не подругой — с ней можно было делиться лишь на некоторые темы — над всеми проявлениями глупости она издевалась так, что моментально разговор

переходил в другую плоскость. Кое-кто обижался. Я у нее училась.

Так вот, элегантная, в безупречно простом голубом платье, тетя Наташа оплачивает такси и оставляет ему всю сдачу на чай. Она выходит из машины и поясняет мне: «Я аристократка». И правда — без кучера, без дворца, при строе, в котором все максимально уравнены, она — аристократка в том же смысле, в каком была королевой А. А. Ахматова, которую она любила вспоминать.

В первый раз я увидела тетю Наташу в Москве летом 1964 года. Мама нас привезла с братом на месяц увидеть «настоящую» Россию. Разрыв между представлением и реальностью оказался огромным. Одним из элементов, связывающих воображаемую нами Россию прошлого с Советской Россией, оказались тетя Наташа и ее мать тетя Катя, любимая подруга моей бабушки. Они, так же как и остальные образы России, были частью нашей детской парижской мифологии. И наяву они оказались близкими, с первого контакта. Мы сидим с моим братом Андрюшей за столом у тети Кати, пришли соседи «посмотреть на французов», и нас расспрашивают, как взрослых, о наших впечатлениях. Как нам родина предков? Вот, например, где мороженое вкуснее, в России или в Италии? Андрюша предпочитает русское, я — за Италию. С этого момента меня Наташа полюбила. Назло властям!

Решив, что мы этого достойны, Наташа отвезла нас в гости, в дом, который тоже стал мне родным впоследствии, к Оресту и Люсе Верейским. Художник с нами тоже беседовал как со взрослыми, только с другой планеты. Шутил, подарил рисунок.

Тетя Наташа не дарила предметы — только то, что купить нельзя: свое общество, свои книги, своих друзей. Не поймешь — не получишь. Мне повезло. Она любила воспитывать, а я всеми силами искала дверь в тот мир, по которому она так свободно шагала. В течение долгих лет, до моего переезда в Москву в 1991, мы виделись два раза

в год. Зимой она приезжала к своей племяннице и моей подруге Веронике гостить на месяц-два. Я обязательно ее куда-то водила, посмотреть Версаль, где-то вкусно пообедать, купить очередные составы для ее московского зубного врача. Летом я часто ездила в Россию. Она меня приглашала пожить с ними во времянке у Верейских, которые уже стали для меня тетей Люсей и дядей Ориком. Там я много читала, лежа в траве, и классику, и новинки. Мы каждый день ходили гулять в лес и купаться в реке Пахре; она мне рассказывала про литературную жизнь — не так, как могли это делать мои профессора, а про то, как это творчество часто вступало в конфликт с властями. Без пафоса. Как сосед по даче, Твардовский, взяв в редакции рукопись тогда неизвестного Солженицына «Один день Ивана Денисовича», собрался почитать в кровати на сон грядущий. Начал читать и сразу понял, что это вещь значительная, что лежа ее читать нельзя. Встал, оделся и сидя за столом, прочел за ночь. Напечатал в «Новом мире». И потом расплачивался, отбиваясь от наездов властей. Запил. Часто заходил, рассказывал про то, как его травят за ту правду. И как это всем им было страшно, и как они гордились, что они с ним «против них». С одной стороны, победили «они». С другой, победа была на стороне Твардовского и Солженицына — сказанное и напечатанное стало вечным. Это уважение к правдивому слову, потому что оно было редкостью и потому что оно было опасно для того, кто его произнесет, это Наташино уважение к тому уважению, которое проявил Твардовский, поразили меня потому, что в Париже произнесенное или сказанное слово приобретало весомость по совсем иным критериям. Живя на Пахре, я наблюдала живших там художников и писателей в минуты отдыха. Заходил Трифонов, читал вслух самиздат, заходил Зиновий Гердт со сплетнями из театрального мира. И все об одном: как «мы» боремся с «ними», о борьбе неравной и которой не видно конца. А конец пришел меньше чем 20 лет спустя, но этого тогда не предвидел никто.

Орест Верейский приходил каждый день за час до обеда — рассказать анекдот, показать только что нарисованное или свежесочиненные стишки. И пока говорил и все впивались в его слова, он в сторону Александра Александровича Реформатского, мужа Наташи, многозначно подмигивал и шептал: «А как насчет???» Собственно это только и ожидалось, и как бы между прочим появлялись две рюмки и непонятно откуда взявшаяся бутылка и огурцы. Жена Люся делала вид, что она не понимает, что кроется за этими визитами...

Наташа как никто осознавала и умела показать то, что в ее жизни является частью истории. Так появились ее «Дороги и судьбы». Под влиянием ее же восприятия советской действительности, через детали жизни анонимных людей, появилась уже в 1990-м моя книга из писем читателей журналу «Огонек». Прочитав книгу и мои интервью в прессе, она меня стала называть *Фам селебр*[1]. В отличие от многих современников, Наташа любила успех. В 1991-м, сразу после путча я переехала со старшим сыном в Москву. Влюбилась в министра-демократа и вышла замуж. У меня появился русский муж. «Лопухин — какая хорошая фамилия». И я стала ждать ребенка. «Ну, мой друг, значит, ты уже к нам надолго. Смелая ты женщина...»

Последний раз я ее увидела, когда уезжала в Париж. Был ноябрь 1993-го, только что похоронили Ореста Верейского. Из-за слабости она не смогла быть на похоронах любимого друга. Я зашла, прихватив, как всегда, гостинцев. «Спасибо, спасибо, хорошему вору все впору». Стою в прихожей, она гладит меня по животу и благословляет. Никогда она раньше этого не делала. И я не понимаю, что на самом деле благословлять ее должна я. 14 декабря родился в Париже мой русский мальчик, Александр. Месяц с лишним спустя умерла Наташа. Еще через месяц мы со всеми Наташиными друзьями хоронили ее урну и уже без

---

[1] Знаменитая женщина (*франц.*).

нее стали встречаться. Наташа была последний живой близкий мне человек, который был современностью и несомненным представителем мира моего детства, той ушедшей дореволюционной России, о которой так часто рассказывала мне моя бабушка.

Людмила Верейская

МИР ТЕСЕН

«Мы ехали тогда одним путем, / Нам Новгород предстал в жаре и пыли, / Как мне запомнились и Коля за рулем, / И пестрый мяч в автомобиле». Так вспоминает начало нашего знакомства Наталия Ильина в одном из своих рифмованных, дававшихся ей не без труда новогодних посланий.

Летом 1963 года наша приятельница художница Вера Аралова пригласила нас в небольшое автомобильное путешествие. Никто из нас троих водить машину не умел — за рулем был водитель, разбитной паренек, кудрявый, румяный до багровости. Я описываю его потому, что когда мы (еще не будучи знакомыми) оказались в Новгороде за соседними столиками в ресторане гостиницы, Наташа, разглядывая нас, гадала, кому и кем мог доводиться Коля.

В тот день мы с Верой из-за жары и лени остались в гостинице, а Орест, захватив альбомчики, отправился любоваться новгородскими храмами и, конечно, рисовать. Там он и встретил Александра Александровича Реформатского. Они разговорились, представились и сразу понравились друг другу. А. А. пригласил Ореста посетить их, предлогом было изучение дорожных карт, так как выяснилось, что дальше наши пути совпадают.

Это посещение любила вспоминать Наташа. Когда она рассказывала о нем на творческом вечере Ореста в Академии художеств, зал то и дело прерывал ее раскатами хохота. Сказав жене, что к пяти приглашен художник Верейский, А. А. вытащил любимую пластмассовую флягу и

сообщил, что собирается разделить ее содержимое с гостем. Наташа ужаснулась: «Только ты пьешь водку в любое время дня! Интеллигентные люди пьют в пять часов чай...» — и дальше шел привычный монолог жены, чей муж любит выпивать гораздо больше и чаще, чем ей бы этого хотелось. Но мужа убедить она не сумела. Да и интеллигентный гость на предложение: «А не выпить ли нам водочки?» — неожиданно ответил: «С удовольствием!».

Это и было началом нашего знакомства, перешедшего, по счастью, в долгую дружбу, длившуюся до самой кончины Ореста, а вскоре и Наташиной.

Дальше наш путь лежал в Псков и Пушкинский заповедник. Мы еще никогда не были там и давно мечтали попасть в эти святые места. В те годы заповедник отнюдь не был готов к приему стремившихся туда паломников. Я имею в виду только бытовые удобства. Все остальное было первозданно и прекрасно. Когда перед нами предстала арка со словами «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» и высокое дерево рядом, на котором восседал на одной ноге аист, — сразу возник комок в горле, и волнение уже не покидало нас.

Несмотря ни на что. Гостиницы в ту пору не было. Нам предоставили одну на всех келью в Святогорском монастыре. В ней было единственное слепое оконце, которое не открывалось. Но если бы это было возможно, не стоило: во дворе, куда оно выходило, благоухали примитивные уборные. Мух было столько, что их хотелось разгребать руками. Наши раскладушки стояли почти вплотную, и наутро Реформатский, оглядев нас, сказал: «Вижу сцену из „На дне“. Чур, я — Лука». Потянувшись, он достал и тут же пролил стакан киселя, по виду и вкусу сравнимого разве с разведенными чернилами (какой пир для мух!).

Надо же было, чтобы именно здесь и сейчас нас разыскали и посетили гости — наши с Орестом друзья и соседи по дачному поселку Геннадий Фиш с женой. Мгновенно оценив обстановку, Таня сказала: «Почему бы вам всем не жить здесь долго-долго...».

Но и это, и так называемые обеды в столовой, все не имело значения рядом с домом, где жил Пушкин, его могилой, рекой Сороть, которой он, как и мы, любовался.

В Таллине мы стояли (любимое выражение Наташи) в одной гостинице, и тут, осмелюсь сказать, полюбили друг друга и уже не расставались. Под Таллином на взморье был выстроен почти всамделишный замок Эльсинор для съемок «Гамлета», это стало нашим любимым местом для отдыха и пикников. Съемок не было, не помню, еще или уже, но с Козинцевыми мы, конечно же, виделись в Ленинграде. Из Таллина возвращались вчетвером, уже обменявшись адресами и телефонами.

А вскоре Реформатский и Наташа поселились во флигеле на нашем дачном участке. Они провели здесь десять лет (в смысле — лето, а не годы), и хотя работали и ночевали у себя, все остальное время мы проводили вместе. И какое это было веселое, счастливое время! У меня и в архиве Наташи хранятся папки, прозванные, в подражание Чуковскому, «Пахроккалой». Моя — потоньше, Наташина — полнее, там хранятся все стихотворные послания Реформатского, а их было множество. Но так как они в большей степени отнюдь, что называется, не для дамского чтения, то я храню у себя малую их часть — самую пристойную.

Вот ведь какая странная особенность была у этого блестящего ученого, интеллигентнейшего человека — пристрастие к непечатным словам, сомнительного свойства анекдотам и т. д. Помню, когда у нас по какому-то случаю было большое застолье, А. А., изрядно выпив, принес свои стихи... Твардовскому. Тот, прочитав, разгневался не на шутку: «Заборные слова в конце строки, для рифмы, я бы еще понял, но в середине строки...». И ушел, громко стуча палкой по плиткам нашей дорожки.

В «Пахроккале» хранится стихотворная переписка многих наших содачников. В ней, случалось, принимали участие Антокольский, Белла Ахмадулина, Матусовский, Гердт и многие другие.



Натали и Ислахи.
Дружеский шарж Ореста Верейского

Наташа прочно вошла в нашу жизнь, и не одна. Мы познакомились и подружились со всеми ее родными, особенно с сестрой Ольгой и ее прелестными дочерьми. Ольга в Сайгоне вышла замуж за француза и уехала в Париж. Позже из Шанхая вернулась на благословенную родину Наташа, чудом избежав участи многих «возвращенцев», угодивших в тюрьмы и лагеря. Но и она, как известно из ее книг, что называется, хлебнула лиха. Только упорство, воля и Богом данное дарование помогли ей выстоять.

Чуть оперившись, Наташа вызвала из Шанхая свою мать. Когда Екатерина Дмитриевна обосновалась в Москве, тотчас приехала из Парижа Ольга — они не виделись восемнадцать лет. И Наташа спросила, можно ли привезти к нам на Пахру сразу всех — маму, сестру и младшую дочку Катю. Конечно же, будем рады, ответили мы. Тем более, что у нас тогда гостила мать Ореста, — две старые дамы, обе родом из Петербурга и обе, как мы знали, очень общительные. Не прошло и десяти минут после встречи и представлений, как мать Ореста и мать Наташи уже обнимались, вытирая слезы. Оказалось, Леночка Кареева и Катенька Воейкова были не только знакомы в юности, но дружили и вместе танцевали на гимназических балах.

Мир поистине тесен, и родственным по духу людям в нем не разминуться. Судьба обязательно сведет их в какой-нибудь точке, порой самой неожиданной. Удивительно, что и наше знакомство с Наталией Ильиной, о котором я рассказала, состоялось не в Москве, куда она приехала в конце сороковых из Шанхая и где все мы жили, а по прихоти судьбы в Новгороде.

Сейчас, когда троих из нашей четверки уже нет в живых, я часто, все чаще (а не наоборот, как принято думать) вспоминаю все, что нас связывало, что с нами бывало. Мы часто вместе отдыхали, вместе путешествовали. Одно из любимых моих воспоминаний — наша поездка с Наташей в Армению.

Некий лингвист (имя его легко восстановить, но, как покажет дальнейшее, не стоит), житель Еревана, защитил в Москве диссертацию, оппонентом которой был Реформатский. Защита прошла блестяще, и благодарный новоиспеченный кандидат наук пригласил Александра Александровича и его жену Наталию Ильину погостить в Армении. Обещания были самые широкие — лучшая гостиница города, путешествие по стране и отдых в правительственном санатории на горном курорте Дилижан.

Реформатский, поблагодарив, отказался, он как всегда предпочел путешествие пароходом по Волге. И Наташа спросила, нельзя ли ей поехать с друзьями Верейскими (мы были знакомы с приглашавшим). Пожалуйста, был ответ. Мы предупредили о приезде телеграммой, сообщили номер рейса и отправились в путь, предвкушая замечательную поездку.

На аэродроме нас никто не встретил. Выждав какое-то время, Наташа позвонила. Женский голос ответил: муж в командировке в Ленинграде, ничего о вас не знаю, — и трубка была брошена. Но эта женщина не знала Наташу. Она позвонила снова и сказала, что будет звонить до тех пор, пока не узнает, куда нам ехать. А если обещанные номера в гостинице не заказаны, мы втроем немедленно едем к вам, адрес известен. Жена кандидата пыталась протестовать, но тут уже трубку бросила Наташа. И мы, поймав такси, поехали.

В большой, пустоватой, вроде бы необжитой квартире нас встретила, мягко говоря, неприветливо русская женщина (хозяин был армянином) и двое испуганных детей. Хозяйка, назвавшаяся Ритой, объявила, что ночлег, раз уж так случилось, предоставит, но уж утром квартиру придется освободить. Муж, говорила она, вечно приводит в дом посторонних. Превратил квартиру в заезжий двор. Вот на днях тоже привел троих и говорит: это мои друзья. А я слышу, в ванной спрашивает: как вас зовут? Наташа, как бы не проникнувшись смыслом услышанного, сказала: но чай нам, надеюсь предложат? И перекусить. Орест хо-

лодел от ее раскованности. С его немыслимой деликатностью он предпочел бы ночевать на скамье в аэропорту.

За ужином хозяйка не унималась: вот видите, чайные ложечки, была дюжина, осталось четыре. Чашек было...

Настала пора располагаться на ночь. Рита объявила: ночевать будете на балконе, у нас лучший вид в городе. Ничего подобного, возразила Наташа, мы будем спать в комнате. Какой еще «вид» в темноте ночи? Мы с Люсей ляжем на диван, а Оресту Георгиевичу постелите на раскладушке. Утром Наташа потребовала завтрак. С аппетитом уплетала яичницу, заставила поесть и Ореста.

Дальше — и пошли они, солнцем палимы... Мы знали, что предстоит грандиозное торжество — юбилей поэта Аветика Саакяна. Рассчитывать на номер в гостинице, придя с улицы, невозможно... Вспомнили, что перед отъездом наш добрый знакомый, он был тогда заместителем главного архитектора Москвы, просил передать привет главному архитектору Еревана. И мы направились в мэрию.

В кабинете главного архитектора была толчея, шла подготовка к торжествам. Наташа уселась, закурила и сказала Оресту: действуй. Нужно было знать Ореста, с его застенчивостью рассчитывать было не на что. Улучив минуту, он подошел-таки, представился и сказал: вам привет от Дмитрия Ивановича Бурдина. Спасибо, — бросил архитектор и тут же накинулся с гневной армянской тирадой на кого-то из вновь вошедших. Орест, обескураженный, отошел. Но Наташа была непреклонна: сейчас я сама буду с ним говорить. В эту минуту вошел бородатый человек и раскрыл Оресту объятия. Он оказался главным художником города и, узнав о наших плачевных делах, тут же направился к хозяину кабинета. Они долго переругивались, наконец нам объявили, что могут предоставить пустующую резиденцию — но только на пять дней. И даже дали машину съездить за вещами. Наташе хотелось немедленно сообщить Рите, где мы будем жить. Услышав, что в «Норте», Рита сказала: знаю, это туристический па-

латочный городок. Ничего подобного, это — правительственная резиденция! — с торжеством парировала Наташа.

Резиденция превзошла наши самые смелые ожидания: парк террасами спускался с холма, на холме — великолепный одноэтажный особняк, все продумано, красиво, удобно. Но жить в этой роскоши мы могли всего пять дней. Надо узнать, не забронированы ли хотя бы путевки? В высоком учреждении нам для начала сообщили, что у того, кто ведает путевками, инфаркт. Приходите завтра. Наконец нам повезло — путевки заказаны. Едем в санаторий «Горные вершины».

Но и в Дилижане не обошлось без приключений. Мы разложили вещи и хотели отдохнуть с дороги, но тут начался невообразимый шум: где-то что-то сверлили дрелью, пилили электропилой. Постучав, вошла Наташа и сказала: «Как у Зощенко — в доме отдыха был мертвый час. Стреляли в тире». Тут к нам стали входить без стука какие-то люди с дарами, — меняли наш телевизор, как сказали, на «еще более цветной», несли стопки крахмальных салфеток, а когда захотели сменить еще и ковер, я взмолилась: не беспокойтесь, нам и так все здесь нравится. «А это не для вас. Завтра вас отсюда выселят».

Мне казалось, нас это не коснется. У меня после горной дороги подскочило давление, Наташа и Орик — люди известные. Но после завтрака в ресторан вошел человек и сладчайшим голосом объявил: «К нам приезжает правительственная делегация. Надо уступить место. А вам мы приготовили приятный сюрприз — замечательный отдых в пансионате на Севане. Будете два дня ловить рыбу и...». Тут его перебила Наташа: «Не люблю насильственных развлечений!». Увы, освободить комнаты пришлось. Орест покорно поплелся к автобусам, а нас с Наташей, самых несговорчивых, поселили внизу, в пустующем коттедже, но объявили, что кормить не будут, разве что останется «от гостей». Ответив, что нам не нужны объедки с барского стола, мы отправились пешком в Дилижан — путь неблизкий, но тогда и я и Наташа были еще неплохие ходоки.

В сумерках вернулись. Всюду в парке и неподалеку от нашего коттеджа прогуливались молодые люди в одинаковых серых костюмах. «Наш» строгал палочку и кружил не отдаляясь, — казалось, мы удостоились чести иметь личного соглядатая. Домик, в который нас поселили, располагался в низине, а высоко над нами сиял огнями и гремел музыкой Большой Дом, из которого мы были изгнаны...

Зато впереди нас ждали сплошные радости. Наши друзья, художник Григор и Эмма Ханджяны были в Ереване, мы много путешествовали, и венцом нашего отдыха стало посещение святейшего католикоса всех армян Вазгена Первого. Католикос был другом нашего друга Ханджяна, и аудиенция была нам предоставлена.

Когда мы увидели этого очень красивого, величественного человека, обожгла мысль, как мало мы готовы к такому приему. Стояла жара, на мне и Наташе даже чулок не было, все одеты небрежно, а он так хорош, так красивы его одежды, так торжественны комнаты, по которым мы шли. Мы извинились за свой вид и уселись. Католикос предложил нам четыре языка на выбор, кофе и шоколад от Фуке.

Как давно это было. Нет в живых этого замечательного человека. И как много испытаний выпало с той поры на долю армянского народа.

Мы полюбили Армению и еще дважды приезжали сюда. Второй раз тоже втроем, с Наташей, в только что отстроенный Дом кинематографистов, где все было замечательно, кроме частого отсутствия воды. И надо же было, чтоб в один из таких «безводных» дней к нам приехала в гости из Еревана поэт Сильва Капутикян (к ней неприменимо слово «поэтесса»), что называется, сам-пять с друзьями. По счастью, увидев на нашем балконе любимицу всех армян Сильву, директор дома отдыха тут же организовал пикник в лесной чаще на берегу горного ручья. Пикник был веселый и вкусный. А уж когда неожиданно с гор спустились к нам бродячие музыканты, все пустились в пляс. Сильва плыла в танце, как подобает восточной

женщине, а Орест очень старался быть достойным партнером. Бедный Орик! Как он умел и как любил веселиться.

Чтобы продлить праздник, наняли машину и отправились втроем в Тбилиси. Две милейшие женщины — Натия Амирэджиби и Майя Кавтарадзе предлагали нам свое гостеприимство. Поселились у Натии, — у нее была помощница, значит, Майю мы обременили бы больше. Натия не переставала поражать нас широтой и добротой. Особенно Наташу, которая по утрам, до чашки кофе и первой сигареты, бывала отнюдь не ангелом, а тут с самого утра улыбки, радость общения. Мы провели у Натии четыре счастливых дня, один вечер с ее братом Чабуа Амирэджиби — седым господином, маститым писателем, бывшим в моей молодости красавцем юношей Чабуком.

Предполагалось, что в те дни в Тбилиси будет Отар Иоселиани, это радовало Наташу, потому что, встретившись у нас на Пахре, они мгновенно расположились друг к другу.

Наташа была человеком крайне нетерпимым по отношению к «чужим» и людям, которые ей не нравились. Приехав на дачу, она с дорожки заметила чье-то присутствие в окнах освещенной террасы и настороженно спросила: «Кто там еще у вас?».

Много лет назад Григорий Михайлович Козинцев, помню, сказал, что лучший режиссер сегодня — безусловно Отар Иоселиани. Мы тогда еще не видели ни «Пасторали», ни «Певчего дрозда». А уж теперь, когда я ухитрилась трижды посмотреть «Охоту на бабочек»...

В тот летний вечер, когда Иоселиани забрел к нам, он был уже изрядно весел, а тут еще, едва завидев дорогого гостя, Орест сразу притащил бутылки, так что к приходу Наташи наш гость развеселился вовсю. Они мгновенно полюбили друг друга и говорили так, будто только и ждали этой встречи. Первой точкой совпадения душ оказалась общая... нелюбовь к Чехову. А позже Отар целовал Наташе руки, приговаривая, что вот ведь какое горькое несовпадение во времени, в пространстве, а то бы...

Не застав Иоселиани в Тбилиси, мы все, особенно Наташа, огорчились, но это было единственным, что омрачило наше пребывание в этом красивом, веселом (Боже — тогда!) городе.

В июле 1993 года мы собирались отпраздновать тридцатилетие нашей дружбы с Наташей Ильиной. Двадцатое июня — день рождения Ореста — праздник, который Наташа никогда не пропускала. Собирались объединить и отпраздновать обе даты. Но судьба распорядилась иначе — свой день рождения Орест провел в больнице в тяжелом инсульте. И Наташино здоровье резко ухудшилось...

Статью «Памяти Ореста Верейского» Наташа написала для «Общей газеты». И написала прекрасно — тут ее перо помножено на неизменную любовь к другу. Я благодарна Наташе за все — за дружбу, за ее острый ум, за веселые дни на Пахре, в Москве, в горном Дилижане, в Питере, куда мы часто ездили втроем. И особенно — за эту статью.

Это было последнее, что она успела написать в своей жизни. Наташа пережила Ореста всего на два месяца.

Пусть ее прощальное слово завершит мои воспоминания о трех десятилетиях нашей дружбы.

Памяти Ореста Верейского

В газетном сообщении читаем, что «на семьдесят девятом году скончался Орест Георгиевич Верейский, выдающийся мастер графики, академик, народный художник».

Смерть эту преждевременной не назовешь: возраст смертный. Жизнь прожита недаром, многое успел покойный, имя свое прославил, отечество отблагодарило его — и Народный, и академик. Значит, скончался человек старый, маститый. Так воспримут это сообщение люди, Верейского не знавшие. Но для тех, кто его знал и называл Орик, он не был ни стариком, ни тем более «маститым».

Узнав о его кончине, думая о нем, я услышала, что твержу одни и те же слова: «Какой это был прелестный человек!»

3. Заказ № 718

В книге «Встречи в пути», рассказывая о своем отце, известном художнике Георгии Семеновиче Верейском, Орест пишет: «Отец был не только скромен, но и невероятно застенчив. Всегда старался видеть в людях доброе. Если приходилось быть свидетелем чьей-то бестактности, заносчивости, он испытывал мучительную неловкость».

Эти слова относятся и к Оресту Георгиевичу.

Отец был его первым учителем. В двадцатые годы в доме Верейских бывали художники Александр Бенуа, Добужинский, Сомов, Яремич, Замирайло. Два года ученичества провел О. Г. в мастерской А. А. Осмеркина. Таким образом будущий художник рос и складывался около представителей славного племени российской интеллигенции. «Рвется связь времен!» — говорили на похоронах Чуковского. Эти же слова уместно повторить, прощаясь с Верейским. С этим прелестным человеком, которого я знала 30 лет и уход которого нанес очередной удар по русской культуре.

Я вспоминаю, как во время дружных застолий в его доме на Пахре каждый стремился что-то рассказать, «занять площадку», перебивали друг друга, но особенно часто — хозяина дома. Ему, с его учтивостью, с его воспитанностью, и слова иногда не удавалось вставить. «Орик, извини, я тебя перебью», — говорил кто-нибудь из нас, и сейчас мне кажется, что я — чаще других.

А ведь он был человеком блистательным!

Начну с малого — с его золотых рук. Что бы у кого ни ломалось — бежали к Орику. Отрывали от работы. А отказать он, конечно, не мог. Вот как это отразилось в его стихах: «Писать стишки, чинить очки — моя прерогатива. Но как-то раз я унитаз чинил друзьям на диво. Сверлю, точу, грибы ищу, пред делом не пасую. Я пью вино, гляжу в окно и изредка — рисую».

В течение десяти лет мы с А. А. Реформатским проводили летние месяцы в маленьком домике на участке Верейских. Все эти годы А. А. и О. Г. обменивались шутливыми стихами. Псевдоним одного «Искандер Ислахи», второго — «Маркиз де Конкомбр». Вот как рекомендует себя «маркиз» в очередном послании: «Имеет облик человека / Немолодого. Сталось так, / Что вот почти уж четверть века, / Как он вступил в законный брак. / Вальяжен. Выпить

не дурак». Послание снабжено рисунком — автор изобразил свое лицо в удлиненной форме огурца. Александр Александрович нежно любил Верейского. Сохранил всю их переписку, все стихи, и сегодня мне радостно и грустно их перечитывать.

Как-то в летний день мы с Людмилой Марковной Верейской сидели в саду, болтали. Внезапно сверху послышалось щелканье кастаньет и топот. На балконе второго этажа, а вернее на площадке, куда выходили окна мастерской, танцевал Орест Георгиевич. Плясал — превосходно. Мы внизу умирали от смеха, а танцор сохранял полную серьезность. Отплясав, раскланялся и удалился. Он в то время, может быть, еще не был академиком, а уж членом-корреспондентом Академии художеств наверняка был.

Его великолепное чувство юмора проявлялось, конечно, и в рисунках. Каждый год его друзья получали новогоднее поздравление с рисунком Верейского. Новорожденный год изображался то в виде амура с крылышками, то в виде малютки-художника в берете, но голенького, то в виде танцующей девушки, полуприкрывшей лицо маской зайца (видимо, то был год «зайца»). Каждый рисунок был элегантен и остроумен. Они сейчас передо мной. Особенно больно мне смотреть на последний: поющий петух. Из его клюва вылетают цифры: 1993. Цифра „3“ повторяется, становясь все бледнее, — наконец исчезает. Будто художник предвидел, что в этом году его ждет «дорога не скажу куда».

Он любил свой дом на Пахре. Любил свою мастерскую, откуда он однажды вышел, не зная, что больше туда не вернется. Там, в мастерской, там, на лужайке перед домом, я буду видеть его, вспоминая. Я вхожу, скрипнув калиткой, а он идет мне навстречу по залитой солнцем зеленой лужайке.

Его больше нет. А у меня обрушился еще один кусок жизни.

Наталия Ильина,
декабрь 1993.

Р. Ф. Касаткина

«ДУША О ВАС ЗАЖГЛАСЬ...»

Душа о вас зажглась,
И вот черчу карандашом поспешно...

Арсений Несмелов

Всегда подтянутая, элегантная (любимый стиль одежды — английский, идущий, возможно, от кумира ее юности, актрисы МХАТа Е. Корнаковой), всегда хорошо причесанная — не помню, чтобы когда-нибудь ее волосы не были тщательно уложены, с живым блеском карих глаз и с неизменной сигаретой в руке — такой навсегда запечатлелась в моей памяти Наталия Иосифовна Ильина.

Такой она была всегда и такой продолжала оставаться до последних своих предсмертных дней в сокольнической больнице (только курить бросила). Одна наша общая знакомая говорила: «Мечтаю в старости быть такой, как Наталия Иосифовна: не старухой, — пожилой, всегда элегантной дамой». Но это дается далеко не каждому.

У нее был низкий голос, с хрипотцой, голос, богатый обертонами, ярко индивидуальный. Ведь голоса, как и лица, могут быть «стертыми», невыразительными, а могут быть яркими и запоминающимися. И произношение у нее было очень выразительным: образцово-литературное, но со своей неповторимой краской — продленными согласными на конце слов и с сильным цеканьем, т. е. произношением мягкого *ть* как *ць*, которое особенно обращало на себя внимание в конце слова («Я жду вас, как обычно, в восемь часоф-ф»; «Кто бы это мог быць-ць?»). Помню, с каким удовольствием цитировала она понра-



Александр Александрович Реформатский.
Рисунок Ореста Верейского

вившийся ей газетный заголовок: «Апрель, купить бензин и плакаць-ць», — перепев пастернаковской строки (статья появилась в связи с повышением цен на бензин в апреле 1991 г.), и с какой великолепной растяжкой конечного *ць* это произносилось.

Мы познакомились в 1970 году, когда ее мужу, Александру Александровичу Реформатскому, исполнилось 70 лет. Ей тогда было пятьдесят шесть. (А до этого я была поклонницей ее знаменитых новомирских фельетонов.) Отчетливо помню ее первую непосредственную, такую свойственную ей реакцию, когда Сан Саныч представил меня ей: «Это — Беатриче? Никогда бы не подумала!».

Надо пояснить, что любимым развлечением Сан Саныча было придумывать людям прозвища — в его окружении были Князь, Невеста, Крошка (она же Певица), Графиня, Маманя, Минареточка, Русские Девочки, Заяц, Эльсинорушка, Джо Тигренок, Василий Шуйский, Репетилов — целый хоровод карнавальных масок. Ну, а мне было присвоено имя «Беатрича» (именно так, с конечным «а»; в дательном падеже, который фигурировал на конвертах писем, адресованных мне, непременно со *старинным ѣ — Беатричѣ*).

Непосредственность, даже детскость были неотъемлемыми свойствами натуры Наталии Иосифовны. Потом мне часто случалось видеть, как она сама корила себя за эту непосредственность, как старалась исправить положение, сгладить неловкость, вызванную слишком импульсивной первой реакцией. Но отсюда же, по-видимому, прямота и смелость ее суждений — никаких экивоков, никаких обходных маневров. Эта ее черта многим была неприятна, и немало врагов из-за нее нажито.

Так что первым душевным движением Н. И. по отношению ко мне была ревность. Но она очень быстро поняла, что привязанность Сан Саныча ко мне никакой опасности для нее не представляет, и приняла меня поначалу вполне миролюбиво, а потом и подружилась со мной.

Вскоре после знакомства я была приглашена в их дом, эти посещения стали регулярными, а потом завязалась и дружба с Н. И., и этой дружбе суждено было продлиться вплоть до ее последних дней. Помню первый вечер, когда я пришла в их дом. Элегантность, аккуратность и изысканный вкус хозяйки чувствовались во всем: как был устроен рабочий кабинет хозяина, как организована огромная его библиотека, как удобно устроено рабочее место самой писательницы, — все это в небольшой двухкомнатной квартире. Впрочем, Н. И. сама признавалась, что в вопросах интерьера для нее всегда высшим авторитетом была ее близкая подруга Людмила Марковна Верейская, помогавшая ей советами: «У Люси безупречный вкус-с!».

В тот вечер в доме был и любимый ученик Александра Александровича — Виктор Алексеевич Виноградов, который встретил мое появление недурным исполнением «Лунной сонаты».

И, боже мой, как уютно было на кухне, где и потом неизменно устраивались вечерние посиделки — с прекрасными ужинами, с вином и непременной водочкой. И, конечно, с долгими беседами на разные-разные темы: и о лингвистике, и о литературе, и о музыке, и о политике. Наталия Иосифовна очень любила свой дом, была к нему привязана, как к живому существу. Каждый раз, возвращаясь «из дальних странствий», говорила неизменное: «Какое счастье, я снова дома!». Что, впрочем, не мешало ей через некоторое время вновь начинать сборы в очередную поездку.

Эта привязанность к дому была очень понятна: ведь она так долго была лишена своего угла, так долго скиталась по чужим домам! Кто не знал ее близко, может прочитать об этом горьком периоде скитаний в ее книгах.

И к своей машине она была очень привязана. Это было для нее не просто «средство передвижения», но нечто одушевленное, живое. Машина не только избавляла ее от затруднительных переездов в общественном транспорте или мучительного для нее хождения пешком, но и очень скрашивала жизнь. Поездки по Подмосковью, которое она любила, поездки к друзьям на дачи, а раньше, в более молодые годы, автомобильные путешествия по стране. На моей памяти у Н. И. было две машины, обе «жигули». Каждая имела свое имя: сначала была Поля, потом Даша.

Н. И. всегда была окружена людьми. Она сумела привязать к себе не только своих сверстников, собратьев по литературным занятиям, но и нас, людей другого поколения, учеников своего мужа. И она, бесспорно, обладала даром быть интересной для людей другого, молодого поколения. Для нас она устраивала «лингвистические четверги» — в эти дни ее дом был открыт для лингвистов. Кроме нас, В. А. Виноградова с женой, Н. В. Васильевой,

и меня с мужем, Л. Л. Касаткиным, — постоянных участников четвергов, — частыми гостями бывали (список длинный, но перечислю всех): Т. В. Булыгина, Т. Я. Елизаренкова, Н. Д. Арутюнова, Ю. Д. Апресян и М. Я. Гловинская, Н. А. Еськова, А. Я. Шайкевич, Т. М. Николаева, С. Е. Никитина, М. В. Панов, Н. И. Толстой и С. М. Толстая, Г. В. Степанов, Л. П. Крысин, Е. В. Красильникова, Л. П. Калакуцкая, В. А. Плотникова, Б. З. Букчина, математик и лингвист В. А. Успенский.

Но, конечно, случались и пересечения с ее друзьями и коллегами, писателями, литературными критиками, литературоведами, художниками. Н. М. Жаркова, Ю. Карякин, Б. Можаев, Т. Толстая, Нат. Иванова, Ю. Трифонов, В. Лакшин, А. Михайлов, А. Кабаков, В. Солоухин и многие другие заглядывали к ней «на огонек» не только в другие дни недели, но иногда и по четвергам.

Среди разнообразных тем, занимавших нас в эти вечера, была неизменно забота о чистоте родного языка. Для Наталии Иосифовны это был не праздный вопрос: это было ее настоящей болью. Все газетные и телевизионные языковые «огрехи» были предметом ее яростного возмущения. Временами она казалась чрезмерно ригористичной в своих суждениях о языке: она не желала признавать языковой эволюции и возмущалась такими, с ее точки зрения, недопустимыми новшествами, как «расческа» вместо старого «гребенка», «искупаться» взамен «выкупаться» и т. п. Но в большинстве случаев возмущение ее было вполне справедливым. Такие выражения, как «смотрится» (в значении «выглядит») или «однозначно», были для нее явным признаком неинтеллигентности. Точно так же оценивались выражения вроде «симпатичная кофточка», «поменять» вместо «изменить», неправильные ударения (произношение твОрог приводило ее в негодование).

Наступление канцелярита (выражение К. И. Чуковского) на бытовую речь Н. И. считала настоящим бедствием. Делом принципа для нее был порядок упоминания имени, отчества и фамилии на почтовом конверте: если там

значилось: Ильиной Н. И., злополучное письмо нераспечатанным отправлялось в корзину. Когда она слышала или читала: «Он отдыхал в БолшевО» или «Это случилось в ПеределкинО», она бурно протестовала и говорила, что для нее такие выражения равноценны тому, как если бы кто-нибудь сказал: «Пушкин жил в МихайловскоЕ».

«Советское» употребление глагола «довлеть» (в значении «давить», в противоположность нормативному значению «быть достойным») доводило ее до белого каления. И надо же было случиться, что один незадачливый редактор (не помню, какого журнала) недолго думая, решил «подправить» текст Наталии Иосифовны и вписал в него такие строки: «Надо мной не *довлело* партбюро». Конечно, произошел резкий разговор, отношения с журналом были прерваны, и работа Н. И. вышла в другом издании.

Наталия Иосифовна собирала вопиющие нарушения языковых норм, просила это делать и нас. Все мечтала написать об этом большую статью. Не успела...

Обращение к словарям во всех затруднительных случаях было для нее вполне естественным. Одним из любимых словарей был Орфоэпический, под редакцией Р. И. Аванесова. Наталия Иосифовна знала, что основным автором этого словаря была талантливая лингвистка Н. А. Еськова, и обычно говорила, когда возникал спор по поводу того или иного варианта произношения: «Давайте-ка посмотрим у Наташи!».

А как она умела ценить и организовать свое время! Н. И. любила повторять, что, наверное, черта эта в ней идет от юности в капиталистическом мире и для окружающих неприятна. Трудное эмигрантское детство, поиски места под солнцем и заработка, жестокая конкуренция выработали в ней четкость, предельную работоспособность и умение ценить свое и чужое время. Возможно, это могло шокировать мало знакомых с ней людей. Нередко, подвергаясь экспансии какого-нибудь словоохотливого гостя и не умея отделаться от затянувшегося визита, я вспоминаю Н. И. Незапланированные посещения она сразу

вводила в строгие временные рамки. Договариваясь с будущим визитером по телефону, жестко говорила, что времени у него ровно пятнадцать минут, и чаще всего придерживалась регламента. Но, конечно, случалось, что посетитель оказывался очень интересным хозяйке, и тогда время визита не ограничивалось.

Каждый, кто знаком с прозой Наталии Иосифовны, знает, как часто она цитировала стихи: «„И через сколько-то летящих лет ни россиян, ни дач, ни храма нет!“ — писал Несмелов». Вс. Н. Иванов, Георгий Иванов, Дон Аминадо — эти имена я впервые услышала от Наталии Иосифовны. В главе «Уроки географии» строчки «Оран, Оран — звук пустой, да существует ли на земле это место?» привели в смятение машинистку, которая, конечно же, напечатала более привычное: «Орган, орган — звук пустой...», что вызвало немалое веселье собравшихся в очередной четверг. Откуда эта цитата? Наталия Иосифовна не снисходила к читательской неосведомленности. Ее любимым занятием было, процитировав какое-нибудь стихотворение, тут же спросить собеседников: «Чьи стихи?». Любила цитировать Ахматову, Цветаеву, Тютчева, М. Петровых...

В семидесятых — восьмидесятых годах на филологическом факультете МГУ Михаил Викторович Панов читал замечательный курс лекций «Язык русской поэзии», собиравший всегда полные аудитории. В числе постоянных слушателей были и мы с мужем, и многие наши друзья и знакомые. Я каждый раз брала на лекции магнитофон и записывала их. Наталия Иосифовна слушала наши восторженные рассказы об этих лекциях и просила приносить ей кассеты с записями. Слушала сама и давала слушать своей давней приятельнице Э. Г. Герштейн.

Пишу эти строки в канун Крещения. Ровно три года назад я была у Наталии Иосифовны в больнице и в последний раз ее видела. Она была на диво бодра, сидела в кресле, а не лежала. И прочитала стихотворение Цветаевой, все, до конца, поразив меня (в который раз) своей памятью...

Все ее знавшие помнят, какой великолепной рассказчицей она была. Ее устные рассказы — своего рода шедевры. Как часто, выслушав очередной рассказ, мы просили ее записывать. Кое-что она записывала и опубликовала, но, конечно, далеко не все. Обладая исключительным чувством юмора, она высоко ценила это качество в других людях. «Безъюморный» или «безъюморная» было в ее устах очень серьезной отрицательной характеристикой человека.

Н. И. была всегда активной участницей общественной жизни. Ее волновало все, что происходит в литературе, и в двух наших академических гуманитарных институтах (Институте языкознания, где работал ее муж, и в Институте русского языка), и в стране в целом. Недоброй памяти 1968-й, позорный для СССР, год подавления Пражской весны и подлой оккупации Чехословакии советскими войсками, был для нее потрясением и окончательным разочарованием в «этой власти». Репрессии 70-х годов в Институте русского языка, когда проводились увольнения «подписантов» и других участников демократического движения, она принимала очень близко к сердцу. Чем и как могла, помогала уволенным.

И, конечно, она приветствовала начало перестройки. С детской непосредственностью и удивлением признавалась: «Представьте себе, мне впервые нравится наш вождь!». И долгое время не желала замечать непоследовательности в действиях Михаила Сергеевича, он был ее кумиром.

В августе 1991-го она бурно переживала попытку переворота. Нас с мужем в эти дни в Москве не было: мы были во Франции, в Экс-ан-Прованс, где в это время проходил Международный фонетический конгресс. Увидевшись с нами после провала путча, она уверенно сказала: «Вы приехали в совершенно другую страну, с прошлым навсегда покончено!». Что и говорить, не только у Наталии Иосифовны кружилась голова, не одна она поверила, что коммунисты ушли навсегда. Конечно, мы вместе с ней внимательно следили за ходом судебного процесса над компартией, обмениваясь впечатлениями по телефону, и

вместе огорчались, когда поняли, что весь этот процесс превратился в фарс. Вспоминаю одну ее реплику по поводу выступления какого-то коммуниста: «Спасибо вам, что помогли мне купить цветной телевизор, а то бы я никогда не узнала, что эта б... в розовом пиджаке!» Надо сказать, что Н. И. не прочь была при случае употребить крепкое словцо. И, признаться, это очень ей шло, как-то естественно связывалось с ее обликом.

Со свойственной ей прямотой, не поддаваясь общепринятым мнениям, высказывалась Н. И. об искусстве. Она не любила Феллини и могла страстно спорить с его приверженцами. Как тут не вспомнить П. Вайля и А. Гениса: «...как все российские интеллектуалы, мы обожаем Платона, Шагала и Феллини. Но в свободное от интеллектуализма время предпочитаем Конан-Дойля, Шишкина и телевидение». Так вот, Н. И. не играла в интеллектуализм и никогда не следовала моде в своих вкусах и суждениях. Любовь к Достоевскому и Толстому прекрасно уживалась в ее душе с любовью к английским мастерам детективного жанра и особенно к Агате Кристи. Британцы — великие мастера построения сюжета, говорила она. Об Агате Кристи она написала статью и перевела один из лучших ее романов. И хотя во время этой работы ворчала, что много времени теряется и что «переводить — это все равно, что есть собственный мозг», ее перевод стал одним из украшений русской «кристианы».

1997 г.

В. А. Виноградов

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

Почему мы, люди, далекие от Союза писателей и от писательства, оказались так тесно связаны с Наталией Иосифовной? Ну прежде всего из-за Александра Александровича Реформатского, мы его наследие. Но Н. И. не тот человек, который соблюдает формальности: раз ученики мужа, значит, хочешь не хочешь, а надо держать при доме.

Думаю, причина в другом. У Н. И. был чрезвычайный интерес к разным людям. У нее на кухне можно было встретить дипломата или посла иностранной державы, врача, математика, артиста, художника — в этом доме все были уместны и естественны.

Конечно, сближало нас и некоторое гуманитарное родство душ, хотя, честно говоря, профессию нашу она толком не понимала. Но она испытывала уважение к наукам вообще и к лингвистике в частности, уважение к ученым. Не вникая в детали, она держала в памяти панораму московской лингвистической жизни, и очень скоро у нас появилась потребность по четвергам давать отчет, как когда-то А. А.: что за неделю произошло в научных кругах, кто женился, кто развелся, кто совершил очередную подлость. Конечно, сближали интерес и любовь к языку. С обеих сторон этот интерес был профессиональным, но как бы в разные стороны заостренным.

Н. И., когда ей нужно, умела быть удивительно внимательной и заинтересованной, она умела советоваться — тоже некий дар. И если нужно было что-то узнать, она уж допытывалась досконально. Помню, в шестидесятые годы

она писала об одной научно-популярной книжке, имевшей отношение к лингвистике, очень претенциозной и авантюрной. Казалось бы, Н. И. могла расспросить А. А. за обедом о каких-то деталях, узнать опорные вещи, потому что глубоко вникать не было никакой нужды. Но не тут-то было. Был создан специальный лингвистический консилиум из крупнейших авторитетов, и в течение 3-4 часов шел живейший обмен мнениями, который очень скоро перерос в настоящий научный симпозиум, и уже Н. И. скучающе следила за ходом обсуждения. Но что-то она оттуда вынесла, и фельетон, написанный уверенной рукой, подтвердил ее умение проникнуть в суть дела.

Конечно, интерес Н. И. к языку — это интерес профессионального литератора, но он далеко выходил за рамки просто художественной сферы. Сколько раз мы были свидетелями, — она мгновенно теряла интерес к человеку, воздвигала стену, если в его речи были грубые ошибки, просторечия, канцелярит. Она была настолько чутка, что не могла преодолеть неприязнь к плохо сказанному слову, бурно реагировала, если не дай бог, кто-нибудь за столом что-нибудь ляпнет.

Но любовь к слову и справедливость натуры проявлялись и в том, что она искренне радовалась удачному экспромту, эпитету, остроумной реплике. Н. И. так смеялась и хвалила, что автору реплики становилось неловко. Более того, она в другой компании, скажем, в другой день недели, могла похвастать: ты знаешь, вчера мой друг Юра Карякин замечательно сказал по телефону... В этой искренней радости — вся Н. И.

Читая друзьям вслух, она с интересом ждала любых придирок. Но у нее не могло быть языковых оплошностей, к которым легко прицепиться. Мы вымученно с Леней Касаткиным что-нибудь советовали. Она иногда соглашалась, чаще — нет, полагаясь на свое художественное чутье. Но в любом случае была благодарна, даже если утверждалась в том, что поступает правильно, отказавшись от чего-то лингвистически более гладкого.

Высокий деятельный потенциал Н. И. проявлялся не только в ее способности из года в год методично делать свое дело, но и в умении блестяще организовать деятельность других и заставить любое количество самых разных людей добровольно и эффективно сделать то, что ей нужно. Она любила говорить: у меня на кухне работают доктора наук и члены-корреспонденты. Думаю, такой чести удостаивались не только лингвисты.

Н. И. была центром галактики, вокруг которой вращались более или менее крупные созвездия земных тел. Мы были на разных орбитах, но Н. И. любила рассказывать о впечатлениях прошлых дней, и поэтому мы многое знали друг о друге. И все вместе составляли ее непосредственную среду обитания. И в этом, я думаю, большая наша жизненная удача. Фактом своей жизни Н. И. создавала и удерживала в непосредственном вращении разнообразные круги лиц, по отношению к которым она была центром притяжения. А фактом своей смерти она навсегда замкнула нас на себе. И мы все соединились в один печально-дружеский круг людей, которые любят Наталию Ильину и будут помнить ее всегда.

Татьяна Ольшанская

ПЕРВАЯ УЧЕНИЦА

В 1974 году моя близкая подруга, уезжавшая с мужем в Индию, попросила подменить ее — заниматься французским с ее ученицей. Видя мои колебания (частных уроков я тогда не давала, да и занята была очень), Ирина сказала: «Да ты не волнуйся, это ненадолго. Знаю я этих профессорских жен, позанимается с месяц и бросит». Но все оказалось иначе. Наталия Иосифовна, хоть и была женой известного лингвиста, вовсе не относилась к разряду «профессорских жен», а сама была блестящей писательницей и журналисткой. Да и занятия наши продолжались не месяц и не два, а целых двадцать лет.

Ученицей она была замечательной. Ей никогда не надоедали ни упражнения по грамматике, ни длинные переводы, ни спряжение трудных французских глаголов. Каждый вечер с семи до восьми неукоснительно, и в будни и в праздники, она занималась французским, не позволяя себе никаких отклонений. Даже телефон на это время отключала.

Конечно, главным стимулом было желание и необходимость общаться с французскими родственниками. Пуще всего боялась Н. И. оказаться, как она сама говорила, в роли «немой» тетушки из Москвы. С ее живым, экспансивным характером, великолепным чувством юмора это было просто немыслимо. Она любила быть центром общения, ее русская речь была яркой и сочной, она не могла довольствоваться примитивными фразами из разговорников, ей и во французском хотелось быть творцом, шутить и играть словами, чувствовать себя легко и непринужденно,

как в родном русском, или в английском, на котором она говорила с детства.

Кроме того, мне кажется, сам процесс обучения доставлял ей удовольствие. «Первая ученица» не только в школе и институте, но всегда и во всем, Н. И. любила учиться, узнавать новое, тренировать память. «Пока учусь, чувствую себя молодой», — говорила она. В конце концов, когда все существовавшие в то время учебники французского языка были нами «пройдены», мы одолели сборник юмористических статей известной журналистки Клод Саррот, дочери русской французской писательницы, яркой представительницы «новой волны» Натали Саррот. Затем Н. И. заучивала наизусть целые абзацы из книг Пьера Даниноса, французского писателя-сатирика, близкого ей по духу и стилю. Она любила докапываться до глубинного смысла его шуток, которые иногда бывают похожи на головоломки. Таким образом мы пропахали знаменитые «Записные книжки майора Томпсона» и «Все о Соне». Возвращаясь из очередной поездки к сестре и племяннице (а ездила она в Париж почти ежегодно), Н. И. с гордостью говорила, что чувствует себя легко в семье, где муж ее племянницы Вероники не знает ни слова по-русски, а выезжая в гости, позволяет себе острить почти так же свободно, как дома в Москве. Я завидовала французской грамматике, которую Н. И. брала с собой, продолжая занятия и там, во Франции, и привозя мне на проверку пухлые тетради с упражнениями.

Н. И. руководила моим чтением: она непременно хотела разделить удовольствие от чтения с друзьями, обменяться впечатлениями. Одним из первых вопросов, с которыми она обращалась при встрече, было: «Что вы сейчас читаете?». Мне не только давали книги из домашней библиотеки, часто с пометками Реформатского или дарственными надписями авторов очень известных, но даже те редчайшие, которые у нас не издавались и были привезены из-за границы.

Письма бабушки Ольги Александровны, написанные по-французски, мы читали дома вслух, восхищаясь заме-

чательным слогом и блистательным юмором. И было интересно видеть, насколько близки они, бабушка и внучка, высокой бодростью духа, способностью находить смешное порой в далеко не веселых обстоятельствах, умением отнестись к себе как бы невсерьез. Именно эти письма задали тон всему автобиографическому циклу Н. Ильиной. Она любила читать вслух написанное ею за неделю и, несмотря на свой независимый нрав, с некоторой тревогой ожидала реакции. Многим из нас довелось услышать в авторском исполнении то, что потом было опубликовано.

Человек неравнодушный, Н. И. всегда живейшим образом интересовалась всем, что происходит в стране. В глухие времена, когда последствия могли быть для нее очень неприятны (скажем, обернуться запретом на поездки к родным), она не только подписывала различные обращения интеллигенции, например, против переброски сибирских рек, но и от себя лично написала великолепное письмо в ЦК в поддержку Ю. Любимова и А. Шнитке. Ее блистательные статьи в «Огоньке» Коротича вызвали бурные отклики и стали предметом самого широкого обсуждения.

А еще Н. И., хоть и была человеком довольно нетерпимым, удивительно умела располагать к себе самых разных людей. О встречах с великими она написала в своих книгах. Но многие из тех, с кем даже на короткое время и по бытовому поводу сводила ее жизнь: домработница, автомеханик, парикмахер, телемастер, — тоже становились друзьями, уж не говоря о тех, кто в течение долгих лет был рядом и помогал ей, как сейчас говорят, выживать. Н. И. не только знала все их заботы и проблемы, но и умела помочь, не жалея для этого времени, которым она дорожила, кажется, больше всего.

Чего она не прощала никогда, так это небрежного, халтурного отношения к своему делу. Помню ее праведное негодование, когда ведущая радиопередачи назвала Реформатского «Реформаторским» и умудрилась перепутать отчество самой Наталии Иосифовны, не говоря уже о том,

что эта дама не знала разницы между орфографическим и орфоэпическим словарями..

И еще хочу сказать, что занятия наши были полезными обоюдно. Честно говоря, не знаю, кто получил больше, во всяком случае, я благодарна судьбе за эти еженедельные встречи, которые продолжались двадцать лет и во многом изменили и сформировали мои взгляды на жизнь.

Ирина Зорина

КАК НАТАЛИЯ ИЛЬИНА ВСПОЛОШИЛА КОНСУЛЬСКИЙ УЛЕЙ МИДа СССР

Как-то летом 1986 года, в одну из наших традиционных четверговских встреч на Наташиной кухне, рассказала я Наталье Иосифовне, уже вальяжно расположившейся в ожидании гостей на своем королевском стуле и потягивавшей неизменную сигаретку «Мальборо», о своих злоключениях в консульском представительстве нашей страны в Лиме (Перу). Наталия Иосифовна возмутилась и со свойственным ей конструктивно-деловым темпераментом тут же вознамерилась «дать отпор». Но я видела, что пружина ее на этот вечер закручена на другой сюжет.

Тут надо сделать некоторые пояснения непосвященному, а тем более молодому и непросвещенному читателю.

Вскоре после ухода из жизни мужа и самого близкого друга Наталии Иосифовны Александра Александровича Реформатского в 1978 году ученики и коллеги Сан Саныча решили собираться у Наталии Иосифовны каждый четверг, как делали они это раньше, при Учителе. К филологам и лингвистам присоединились и друзья-литераторы (и не только литераторы) самой Ильиной. Вот так и сложился наш круг кухонных посидельцев, иногда довольно широкий, иногда донельзя узкий, но живой и преданный Наталии Иосифовне до последних ее дней. Дом всегда был открыт. К четвергу пеклись пирожки, и даже при занятости хозяйки, а потом при все чаще одолевавших ее болез-

нях в начале каждой недели раздавался звонок: «Так в четверг я вас жду?».

Собирались мы весело. В холодильнике у Наталии Иосифовны всегда было припасено немного выпить и закусить. Сами гости тоже на халяву не рассчитывали, а грамотно «приносили с собой». Все были рады друг другу — ведь порой встречались с теми дорогими людьми, с кем без Наташи в московской суете легко было разминуться на годы. А еще все знали: будут не только очень интересные разговоры — обо всем, о политике («А черт, пусть слушают!» — нарочито громко произносила Наташа, обращаясь всякий раз почему-то к вентиляционному окошку), о новых фильмах или только что опубликованных романах. Но главное, все ждали, чем попотчует на этот раз хозяйка. А Наталия Иосифовна обычно выступала с домашней заготовкой — очередным фельетоном, рассказом или наброском. Проговаривала его нам и, не очень охотно, выслушивала замечания. Впрочем, монолог ее трудно было прервать не только потому, что была она строга, но еще и потому, что было интересно ее слушать, даже если шли интонационные повторы и разработки.

Мне казалось, что мой «отчет» перед Наталией Иосифовной об академической командировке по маршруту Москва — Гавана — Лима — Каракас и обратно сделан и забыт. Ан нет! Прошло месяца два-три, и в один прекрасный день меня на работе срочно вызывают к телефону. «Тебя спрашивает какая-то очень серьезная и сердитая дама». ...Слышу в трубке голос Наталии Иосифовны: «Наконец-то! Сколько можно тебя искать по институту!».

— Господи, да что случилось?

— Еще не случилось, но случится. Они у нас все попляшут! Немедленно напиши на одной-двух страницах отчет о том, как наши консульские отделы помогают соотечественникам, научным работникам передвигаться по миру!

Ослушаться было нельзя. Села за машинку и через часа два отвезла на Аэропортовскую искомый «донос». Он был краток и правдив.

В самом начале мая 1986 года поехала я с лекциями в Венесуэлу. Прямого маршрута не было, надо было лететь Аэрофлотом через Шеннон, Гавану, Лиму (Перу) в Каракас. Денег, естественно, не было. Выдавали нам тогда билет туда и обратно, паспорт с визой, оплаченной родным государством, с пометкой права на выезд из СССР (поставленной в МИДе или в КГБ, не знаю), совершенно жалкие «суточные», и еще «транспортные», которые, как предупреждали перед выездом, ни в коем случае нельзя было тратить на такси, а только на общественный транспорт, с сохраненным билетом для отчета в Москве.

Уже в Университете Каракаса я поняла, что придется мне несладко. Да, о начавшейся в СССР перестройке студенты и преподаватели уже знали, она их интересовала, но еще более интересно им было услышать от только что приехавшего «свидетеля», что произошло в Чернобыле и каковы перспективы ядерной энергетики теперь, после столь чудовищной катастрофы на столь надежной, как всегда утверждалось в нашей пропаганде, атомной станции. А знала я о катастрофе меньше них, вся моя информация ограничивалась сообщениями радио «Свободы» и «Би-би-си». Иностранные газеты еще не успели придти в наш институтский «спецхран», а советская печать, как известно, ограничилась публикацией традиционных первомайских поздравлений партии и правительства трудящимся.

Когда-то В. И. Ленин отдал распоряжение Дзержинскому: на запросы нашего посла в Германии Иоффе об убийстве царя сообщить, что царя убили, но о царской семье — ни слова. «Меньше будет знать — легче будет врать», — правильно определил стратегическую линию пролетарский вождь. Мне даже нечего было врать: я не знала ничего. И только исходя из здравого смысла (конечно, не без влияния на меня Юрия Карякина и Алеся Адамовича) рассуждала о том, что человечеству грозит не только ядерное, но и экологическое самоубийство. От всех этих перегрузок я заболела и с температурой под 39 погрузилась в

самолет (волоком протащив огромную сумку с научными книжками — зачем?).

В Лиму прилетели почти в полночь. Все мои немногочисленные спутники — американцы, немцы и «латины» — практически без таможенного досмотра быстро рассосались по ожидавшим их машинам или такси. Я же после тщательного таможенного досмотра (все-таки кто их знает, этих русских, ведь поодиночке они не путешествуют, всегда в делегации, а тут какая-то подозрительная особа, еле на ногах стоит, шатается) вышла в зал аэропорта. Впрочем, назвать красивым словом «зал» этот барак, продуваемый со всех сторон (в ту ночь случился небольшой тропический ураганчик), было бы явным преувеличением. И в довершение всего выясняется: в стране произошел очередной военный переворот или его попытка. В столице введено чрезвычайное положение.

Звоню в посольство — никого. Звоню дежурному консульского отдела: «Что мне делать? Мой самолет на Гавану завтра. Где переночевать? Не пришлете ли машину? В какую гостиницу поехать? Можно ли просто переночевать в посольстве?». На все вопросы — знаменитое громыкинское — НЕТ.

— Ждите представителя Аэрофлота!

— А когда он появится?

— Завтра, перед рейсом.

— Пошли вы все к черту! — в сердцах сказала я (иногда мне отказывают тормоза) и улеглась на полу в обществе укрывшихся от ливня местных проституток и наркоманов. Взгромоздилась на сумку с книгами, больше всего опасаясь, что если засну, у меня тут же украдут сумку с документами. Не повесишь же объявление: «Денег нет, а паспорт советский молоткастый вам не нужен. Мне же без него нет возврата на родину!».

На родину я все же улетела. Розовощекий представитель Аэрофлота появился за двадцать минут до отправления, провел кого надо в самолет, минуя таможенный контроль и взвешивание багажа. На мои жалкие попытки за-

явить о своих правах цинично заметил: «Насчет вас никто не распорядился!». Вот и весь сказ.

Наталия Иосифовна одобрила мой опус и заверила, что использует его в своем фельетоне, а, главное, в той бумаге, что скоро отправит в консульский департамент МИДа. «Эти чинуши в Париже так меня доконали, что больше молчать не намерена», — грозно объявила она. В этот раз пружина была сжата до отказа. Наташа даже не тратила время на объяснение, что, собственно, произошло с ней в Париже. Я удалилась. А уже через несколько дней началось...

К сожалению, ушли в прошлое те времена, когда на фельетоны и другие критические материалы, опубликованные в «центральной печати» (!), чиновники, и даже очень высокого ранга, вынуждены были реагировать. Фельетон Наталии Ильиной в газете «Известия»[1] о том, как консульские службы гноят советских специалистов и туристов, застрявших в Париже из-за забастовки железнодорожников, получил, как и все ее фельетоны, немалый резонанс. Но еще больший переполох в чиновничьем мире вызвала та бумага, что послала разгневанная Н. И. Ильина (а в гневе она была страшна!) в МИД.

В стране уже вовсю шла перестройка. И хотя основы советской государственности и устои КПСС казались еще незыблемыми, в стане партработников и министерских чиновников все более проявлялись страх и растерянность. А удастся ли сохранить свое место? О сохранении строя в целом они не задумывались. По письму Н. И. Ильиной было созвано специальное совещание в МИДе. Были вызваны работники консульского отдела и представители консульств из разных стран. Кто не сумел приехать, получил потом информацию. Переходя на язык сегодняшнего дня, нельзя не признать, что устроила им Ильина «большой шухер».

---

[1] *Наталия Ильина.* Поезд из Парижа, или Командированный в чрезвычайной ситуации // Известия. 1987. № 35. 3 февраля.

Эхо этого «шухера» еще долго звучало в консульских представительствах разных отдаленных стран. Я сама была тому свидетелем. Приехав в 1991 году на Всемирный конгресс политологов в Аргентину, я заметила, как странно исказилось лицо встречавшего меня «политолога в штатском», когда я назвала ему свое имя.

— Ах, это от вас склочница Ильина получила информацию о работе консульских отделов в Латинской Америке?

— Возможно. Хотя полагаю, вы преувеличиваете мои заслуги перед отечеством.

Конечно, преувеличивал. Не будь делового напора Н. И. Ильиной, я, как и все, ну, большинство научных работников, кому тогда разрешали ездить по миру, смиренно промолчала бы, даже восприняла все издевательства как должное. Воспитание было советское, и как постоять за себя, мы не знали, вернее не умели. А вот Ильина, еще в юности прошедшая жесткую капиталистическую школу труда в Харбине, воспитавшая в себе ответственность, дисциплину и одновременно всегда и от всех требовавшая к себе уважения, выделялась среди нас своей «породой», не просто дворянской, но человеческой. Уж она-то знала: «Не постой за волосок, головы не станет». И в то же время пообещать что-то и не сделать, забыть о деловой встрече, не выполнить к сроку работу — этого она не могла ни понять, ни принять. Многие побаивались ее, особенно ее слова: скажет как припечатает.

И как же это проявилось с началом перестройки, когда литературное начальство уже не могло удержать ни чиновничий Союз писателей СССР, ни своих редакторов-соглядатаев в газетах и журналах. Мне особенно запомнился, кажется, один из последних фельетонов Н. И. Ильиной в «Огоньке», хлесткий, беспощадный, обо всей этой литературной своре, кормившейся вокруг Союза и Литфонда, о тех, кто в долгой и упорной борьбе завоевал, наконец, себе *право писать плохо*, и теперь они вовсе не намерены были его терять.

Что сказала бы сегодня требовательная Наталия Иосифовна Ильина обо всех этих модернистах-постмодернистах, букерах-антибукерах? К несчастью, многие ее слова и сегодня звучат очень злободневно. Ведь мы, как говорит Михаил Жванецкий, движемся назад, к «Родине»! Только вот посиделок на Наташиной кухне уже не будет.

Переделкино, январь 2004

Святослав Федоров

МЫСЛЕННЫЙ СОРАТНИК

Летит время, многое стирается из памяти, но остаются люди, которые дали тебе новый взгляд на жизнь, на тебя самого. Они всегда рядом, забыть их нельзя. Прошлое — это череда друзей, знакомых и ярких личностей, с которыми тебе пришлось совместно подумать о том, что происходит вокруг.

Наталия Иосифовна была для меня мысленным соратником. Мы одинаково оценивали окружающий мир, видели его несовершенство, посмеивались над ним и верили в будущее. Ильина остро писала о следствиях бюрократического управления государством, во многих ее рассказах звучали мотивы гоголевского «Ревизора». Ведь подневольный труд социалистического человека, оболваненного пропагандой, управлялся и сегодня управляется государственной, а теперь еще и финансовой номенклатурой. Наталия Ильина беспощадно высмеивала эти уродливые межчеловеческие отношения, но ее критика была конструктивной, а не злобной. Думаю, одним из главных качеств ее отношения к жизни была ирония и призыв к человеку стать гордым.

При первом знакомстве я был вовлечен в судьбу старого друга Ильиной — Владимира Кандаурова, который жил в Париже. Наталия Иосифовна знала его еще по Шанхаю. Кандауров окончил в Париже строительный институт и стал известным специалистом по фундаментам зданий. Есть прекрасный рассказ Ильиной, как она путешествовала с Кандауровым по Италии. Уже в то время он стал плохо видеть, и французские глазные врачи сделали заключение, что ему нельзя помочь.

Тогда ему было 65 лет, он возглавлял фирму, которая рассчитывала и делала проект фундамента гостиницы «Космос». Наталия Иосифовна привела его ко мне в клинику. И я согласился с заключениями своих французских коллег: сетчатка обоих глаз поражена инфарктом, удаление катаракты, казалось, не могло помочь. Но оба они так на меня насели с просьбой оперировать во что бы то ни стало, что я решился пойти на риск. В это время нам удалось разработать и изготовить специальный аппарат для удаления стекловидного тела. Я провел ему на каждом глазу по две операции: полностью заменил стекловидное тело и помутневший хрусталик.

До сих пор думаю, что произошло чудо! Через несколько дней Кандауров стал видеть каждым глазом на семьдесят процентов. Он был неистовым российским патриотом (Наташа к этому относилась с иронией), хотя всю жизнь прожил за пределами России. С каким наслаждением он живописал удивление моих французских коллег, когда они обследовали его глаза с новыми хрусталиками и новым стекловидным телом. Но еще больше была счастлива Наталия Иосифовна, что смогла помочь близкому человеку.

После этого случая наше общение обрело постоянный характер, моя жена Ирэн просто влюбилась в Наталию Иосифовну. Мы перечитали все ее статьи, фельетоны, книги, горячо их обсуждали дома. После опубликования очередной работы она звонила нам, приходила на чай. Жили мы рядом, Н. И. возле метро «Аэропорт», а мы на Соколе. Она была удивительно легким человеком, не ныла, сохраняла всегда чувство юмора, никогда не предъявляла мелких претензий друзьям и знакомым. Она не шла по жизни, а летела, как чайка над морем. Чувство полета, радости жизни, мне кажется, и были её главным наслаждением. Она возмущалась житейскими мелочами, но стойко переносила глобальные глупости.

Ее суждения были остры и логичны, за критикой деталей угадывалась критика Режима. Часто мы получали от

Наталии Иосифовны диссидентскую литературу, надо было за ночь прочитать и передать дальше. Перестройка вошла в нашу жизнь, и Ильина была активным участником разрушения затхлого общества всеобщей покорности и банальных биологических целей.

Мы счастливы, что знаем, любим, жили душой рядом с замечательным человеком, Наталией Иосифовной Ильиной.

Ирэн Федорова

МЫ СРАЗУ «УСЛЫШАЛИ» ДРУГ ДРУГА

Самое большое богатство, что дарит тебе Судьба, — знакомство и общение с людьми, которые становятся очень близкими по жизни. Таким подарком судьбы были мои две подруги, очень дорогие и любимые, — это Наталия Иосифовна Ильина и Лидия Корнеевна Чуковская — с ней меня познакомила Наташа.

Наташа появилась в моей жизни после ее встречи с моим мужем Святославом Николаевичем Федоровым, и мы сразу «услышали» друг друга. Она умела потрясающе слушать и интересоваться разной информацией. Я, конечно, слушала ее тоже с открытым ртом. Сколько она рассказывала мне об Александре Александровиче Реформатском, Анне Андреевне Ахматовой, об Але Эфрон, о Льве Николаевиче Гумилеве. С Алей Эфрон связан один рассказ, который я привожу в пример моим знакомым, когда мне хочется сделать им какой-то подарок и не ущемить самолюбия принимающего дар. Когда-то, после возвращения Али из мест заключения, она пришла в гости к Наташе. Был летний день с ливнем, и Аля до нитки вымокла. Увидев ее, Наташа подумала: «Как бы ей предложить плащ, чтобы она не обиделась». У Наташи было два новых, один подарил муж, а второй прислала сестра Ольга из Парижа. Она осторожно сказала: «Аля, я хочу подарить вам плащ», — и тут Аля Эфрон абсолютно спокойно ответила: «Спасибо, Наташа, я с удовольствием буду его носить». Боже, какое это удовольствие, говорила Наташа, когда так интеллигентно и просто, с благодарно-

стью принимают твой дар, как это замечательно для дарящего.

А сколько книг я получала от Наташи, таких, какие нельзя было читать, негде было купить, — и Солженицын, и Алданов, и Хлебников, и Платонов, и Гиппиус, и Берберова, и Мережковский, и «Час быка» Ивана Ефремова... Ведь в те годы это была запрещенная литература.

Я обожала прийти к ней в гости с бутылочкой виски и блоком сигарет «Marlboro» (всегда для нее привозила то, что она любит, после наших со Славочкой поездок «за рубежи нашей Родины»), садилась на диван, поджав ноги, и мы говорили, говорили, говорили... Ее интересовало все, что происходит у нас в институте, какие новые идеи возникли у Святослава Николаевича по поводу организации здравоохранения и методов лечения глазных болезней, что он говорит об экономике и политике. А сколько она рассказывала сама: интересно, сочно, с юмором. Она нас познакомила с Лидией Корнеевной Чуковской, у которой была катаракта обоих глаз. И Святослав Николаевич сделал ей операцию, позволил жить, писать, наслаждаться жизнью.

Наташа очень любила приезжать к нам на дачу, где Слава возил ее по достопримечательностям Славина, Протасова, Рождествена. Была в церкви, которую восстановил Святослав Николаевич, любовалась красивыми лошадьми и жеребятами, каталась со Славой на мотоцикле, сидя сзади и обхватив его руками за спину. А потом всегда говорила: «Я побывала у Федоровых в раю».

Воспоминания о Наталии Иосифовне я сохраню на всю оставшуюся жизнь. С ее уходом я потеряла любимую подругу, часто мне ее очень не хватает, но я знаю, что она все время где-то близко, со мной, и я благодарна Судьбе, что Наташа была рядом с нами. Мы со Славочкой очень любили ее. Царствие тебе Небесное, Наташа!

10 ноября 2003 г.

Нана Кавтарадзе

НАШИ ВЕЧЕРА

> J'ai une conviction profonde : les morts vivent tant qu'il y a des vivants pour penser à eux.
>
> *Emile Henriot*[1]

Мы с Наталией Иосифовной знали друг друга не десятилетия, всего семь лет. Познакомившись, сразу же стали общаться, подружились. Общение наше, или вечера, как мы их называли, значили для меня очень много, обогащали мою жизнь, давали радостное ощущение духовного родства.

Познакомились мы в начале 1982 года — связанный с литературой случай свел нас, а литературой была книга Лидии Корнеевны Чуковской «Записки об Анне Ахматовой». Мамина двоюродная сестра попросила вернуть «Записки» Наталии Иосифовне Ильиной, своей знакомой, жившей по соседству в моем же дворе. Дала телефон, и на мой вопрос, могу ли я прочесть книгу, ответила: «Нет, отдай немедля, я и так ее задержала». Я, конечно, могла все равно прочесть и потом вернуть, но решила позвонить, попросить разрешения. Звоню. Голос явно курящей немолодой женщины, на мою просьбу-вопрос очень доброжелательный ответ: «Конечно, детка, прочтите не спеша, а потом позвоните и занесете». И я читала замечательные «Записки» вечерами, уложив четырехлетнего сына, сидя на кухне нашей однокомнатной квартиры, потом прочел

[1] «Я глубоко убежден: умершие живут до тех пор, пока существуют живые, чтобы вспоминать их». Эмиль Энрио.



Екатерина Дмитриевна
Воейкова



Иосиф Сергеевич Ильин
и Наташа. Петроград, 1917



Вся семья: Екатерина Дмитриевна, Ольга,
Иосиф Сергеевич и Наташа. Такая фотография была в Харбине
«удостоверением личности» для детей <1928>



Ольга Александровна Воейкова, Наташа,
Александра Александровна Мертваго



Отъезд гостей из Самайкина. За экипажем — Екатерина Дмитриевна с Наташей на руках. Рядом — тетя и бабушка



Наташа в Самайкине



Гуля и Тата



Ольга, мама и Наташа



Екатерина Дмитриевна и ее брат Александр Дмитриевич Воейков, рядом Наташа. Стоят — Муся Воейкова и Ольга. Харбин <1932>



Наташа Ильина
в русском костюме



Наташа Ильина.
Харбин



Н. Ильина.
Шанхай, 1937.
На обороте фотографии надпись: «Я снималась в день твоих имянин и думала о тебѣ. Твоя шанхайская Miss Pen. 10 декабря 1937 года. Видишь, я толстая!»



Н. Ильина.
Шанхай, 1938



Н. Ильина.
Шанхай



Н. Ильина.
Шанхай



Н. И. Ильина. Шанхай, 1947



В редакции газеты «Новая Жизнь». Шанхай, лето 1947



Н. И. Ильина. Казань.
На обороте фотографии: «Мамочке.
Апрель 1949. Казань. Узнаешь свой
лиловый светр?»



Наталия Иосифовна Ильина
и Александр Александрович Реформатский



А. А. Ахматова, А. А. Реформатский и Н. И. Ильина



У Чуковских в Переделкине. Слева направо: Саша Нилин, П. Ф. Нилин, Н. И. Ильина, К. И. Чуковский, Вероника Жобер. Лето 1969



Н. И. Ильина с английским сеттером Ладой во дворе дома на улице Черняховского. Начало 1960-х



Н. И. Ильина,
Вероника
и Ольга Лаиль.
Архангельское, 1964



В Гагаринском переулке.
Н. И. Ильина
с дядей Ваней,
Иваном Дмитриевичем
Воейковым



Н. И. Ильина.
Фотография для журнала
«Юность». 1970



Вероника Жобер и Орест Георгиевич Верейский.
Красная Пахра, 1964



Надежда Михайловна Жаркова



Н. И. Ильина
и Георгий Александрович Товстоногов

У мамы на Введенском кладбище. Май 1979



Н. И. Ильина.
Москва, май 1970

За рабочим столом

мой муж, и я позвонила Ильиной. Тот же голос и так же любезно очень хорошо объяснил куда. Наталия Иосифовна предложила занести книгу вечером того же дня. «Примерно к девяти, вообще после восьми, когда вам будет удобно — я ложусь поздно».

Иду через двор направо в калитку в чугунных воротах, прямо подъезд. Поднимаюсь на лифте, звоню. Дверь открывается широко, настежь. Статная пожилая женщина в брюках, с сигаретой в руке смотрит на меня минуту-другую. Очень русское лицо, очень умное: «Как же я не видела вас у нас во дворе?!». Мы заходим в гостиную двухкомнатной небольшой квартиры. Диван, перед ним низкий журнальный стол, два кресла, полки, заставленные книгами. «Расскажите о себе. Любите виски? У меня хороший виски». Наталия Иосифовна приносит бутылку шотландского виски, стаканы, потом орешки и ставит все на журнальный стол, где рядом с большой пепельницей лежит открытая пачка «Marlboro» и зажигалка. «Вы курите?». «Да, но я не взяла сигарет». «Курите, у меня целый блок. Хотя это очень вредно и лучше бы не курить вам, — добавила она и тут же закурила. — Ну, рассказывайте о себе». Я стала рассказывать, Наталия Иосифовна очень внимательно слушала, и рассказ меня увлек. Он начался с бабушки Анны, удочерившей меня. Анна родилась в XIX веке в семье имеретинского дворянина и княжны, в начале XX века училась в Петербурге в женском медицинском институте. К дочери из Тифлиса приезжала мать, моя прабабушка Наталья, и они каждый раз снимались в фотоателье «Westly» на Невском. Дедушка Петр, или Петя, как бабушка его называла, учился тоже в Петербурге на юридическом факультете университета, они встретились, полюбили друг друга, обвенчались. У них родились три дочери. Я, Нана, — младшая дочь самой младшей из трех сестер, Мананы. Дедушку арестовали в 37-м, пришли за ним вечером, когда вся семья готовилась ко сну. Прабабушку Наталию разбил паралич, девочки плакали, маме было 15 лет...

4. Заказ № 718.

Пачка «Marlboro» закончилась, и Наталия Иосифовна попросила меня принести новую из другой комнаты. «Пачка сигарет лежит на письменном столе». Я вошла в другую, поменьше, комнату, с кроватью слева, книжными полками и письменным столом у окна, взяла лежащую рядом с пишущей машинкой новую пачку «Marlboro» и, подняв голову, увидела над столом фотографии — Ахматовой, Ариадны Эфрон... Как же я не догадалась?! Наталия Иосифовна — это Наташа Ильина из «Записок»! Вечер закончился далеко за полночь. Прибежав домой, посидела еще на кухне, выкурила сигарету, выпила чай — спать не хотелось. Удивительная легкость нашего общения, ощущение близкого, давнишнего знакомства произвели на меня сильное впечатление. И еще — Наталия Иосифовна чем-то напоминала мне бабушку. Чем могли быть похожи эти очень разные женщины? Но все-таки... Позже я поняла: воспитанностью, обязательным «Вы», сохранением дистанции, даже при самых близких отношениях.

А когда в 1997 году в «Литературной газете» от 25—31 августа я прочла статью Аллы Латыниной «Господин скандал на рынке мемуаров», — еще раз вспомнила об Анне Илларионовне. Приведу отрывок из статьи Латыниной: «Я имела счастье бывать в доме Наталии Иосифовны. Однажды речь шла о слухе, весьма широко циркулирующем в литературных кругах, будто Виктор Ардов — сотрудник КГБ, вследствии чего его благополучию не вредила дружба с опальной Ахматовой. Ильина назвала слух гнусным и решительно отвергла его. Она была остроумна, безжалостна, высмеивала человеческие слабости — не дай Бог попасться ей на язычок. Но ей было присуще обостренное понятие чести и именно поэтому она была столь щепетильна по отношению к чести других. Прекрасный мемуарист, она оставила живые портреты людей, с которыми сводила ее судьба, избежав какого бы то ни было глянца, но ни разу не поддавшись соблазну увеличить интерес к повествованию за счет слуха, сплетни, злословия. Неужели ушла эта традиция...».

Приведу один случай из моего детства. Третьего февраля, в день бабушкиных именин, в нашей с ней квартире на маленькой тифлисской площади с неподходящим названием Советская собралось как всегда небольшое общество близких. На столе варения и всегдашний яблочный, очень вкусный пирог, произведение моей тети. Пили чай, беседовали. Кто-то из присутствующих высказался по поводу довольно странного факта, что один всем известный человек, в прошлом министр юстиции меньшевистского правительства, не был арестован, и семью тоже не тронули, хотя у его жены брат находился в эмиграции в Париже (министра и жены уже несколько лет не было в живых). И тут бабушка, чуть громче обычного, тоном не терпящим возражения, спокойно сказала, что человек он был безупречной порядочности, а жена замечательной личностью, всех арестовать, сослать и расстрелять не могли, кого-то, может, просто забыли, или не тронули по причине известной только «им» (то есть КГБ), подозревать что-либо другое просто недостойно! Хотя я думаю, нет, просто уверена, что никто из присутствующих ничего недостойного и не подозревал, но сама постановка вопроса задела бабушку и показалась ей ненужной, возмутила ее, наверное, по праву... А зачем, собственно, обсуждать. Спустя годы я вышла замуж за внука не репрессированного министра, но моей любимой Аннушки, как я любила ее называть, в живых уже не было.

Мы с Наталией Иосифовной виделись довольно часто, всегда у нее и всегда после девяти вечера. В другое время я почти никогда не могла: накормив моих мужчин ужином, проведя все нужные процедуры и уложив сына, перед сном я читала ему что-нибудь, или рассказывала (по его желанию), а под конец обязательно пела ему несколько песен, такой у нас был ритуал, который я всегда исполняла, после чего он безоговорочно засыпал. Все заканчивалось примерно к десяти, иногда Наталия Иосифовна звонила: «Наночка, Лады накормлены, уложены? Бегите, жду вас». (Моих мужчин, мужа и сына, зовут Владимирами, а на грузинский лад, уменьшительно — Ладо.) И я

бежала через двор в калитку в чугунных воротах — в угловой подъезд, в теплую замечательную атмосферу дружеского общения, всегда интересного, всегда разного, всегда искреннего.

О чем же мы говорили — молодая женщина, родившаяся за год до смерти Сталина, и пожилая, видевшая и пережившая многое? Обо всем. Темами наших бесед были наши жизни, мои наблюдения, печали, впечатления, рассуждения, ее книги, близкие, друзья. Так я узнала племянниц Веронику и Катю, сестру Ольгу, замечательного «Орика» и Люсю Верейских, много слышала о Татьяне Толстой и многих, многих других.

Перестройка и связанные с ней надежды были темами не одного нашего вечера. А после возвращения из поездки в Америку, где Наталия Иосифовна читала лекции по русской литературе, она так подробно и образно рассказывала мне о своих впечатлениях, что я почти увидела и дом, в котором она жила, прислугу, студентов, как они сидели, как были одеты. Интересны и неожиданны были вопросы, которые они задавали.

Когда впервые в истории СССР транслировали по телевидению съезд народных депутатов, все, кто мог смотреть прямую трансляцию, а не запись, смотрели затаив дыхание, и я в том числе. И вот с высокой трибуны депутат Карякин, близкий знакомый Наталии Иосифовны, говорит, что Ленина надо похоронить как человека, рядом с матерью, а мой сын, уже школьник, который из-за простуды сидел дома и вместе со мной смотрел все трансляции съезда, с тревогой спрашивает: «А его сейчас арестуют?». Я рассказала об этом Наталии Иосифовне (Ладошка ей очень нравился). Позже, в театре на Таганке, куда она нас с мужем пригласила на премьеру «Маленьких трагедий» Пушкина в постановке Любимова, в перерыве мы вышли с Наталией Иосифовной покурить и встретили Карякина. Представив меня ему, она гордо добавила: «А еще Нана — мать того замечательного мальчика, который испугался за вашу судьбу».

Единственный раз Наталия Иосифовна была у нас в гостях, когда мы наконец перебрались в двухкомнатную квартиру в том же доме (она как будто шутя говорила, что в нашу однокомнатную «некуда» прийти и была абсолютна права). Георгий Александрович Товстоногов был в Москве, вместе со своей сестрой Нателлой Александровной, маминой подругой юности и моей крестной. Зная о нашей дружбе с Наталией Иосифовной, Георгий Александрович просил ей передать свое восхищение по поводу статьи в «Огоньке» (если я не ошибаюсь, называлась она «Здравствуй, племя младое, незнакомое»), и добавил, что с удовольствием повидался бы с ней у меня. Вечер состоялся и был замечательным. Сохранилась фотография, на которой оба сидят за столом задумчивые...

Семь лет длились наши чудные вечера, до осени 1989 года, когда мы поехали в Западный Берлин и «задержались» надолго. Но даже тогда Наталия Иосифовна не отдалилась от меня. Звонила из Парижа от Вероники и Жиля, у которых очень любила гостить. Писала мне письма. Хотела поместить письма, в которых нам фактически закрывали возвращение домой, в «Огонек», но Коротич уехал в Америку, а «Огонек» распался. Но как раз огоньковцы напечатали эти письма — переписку через границу, но уже в другом журнале и после кончины Наталии Иосифовны.

Отрывок из ее письма от 17 мая 1990 г.

Наночка, дорогая моя!

Часто думаю о Вас, о Ваших мальчиках, вспоминая, как было приятно видеть в нашем дворе маленького Ладо, такого всегда вежливого, как приятно было знать, что рядом, в двух шагах, есть милая Нана — легко ей позвонить, легко с ней повидаться. Но что обо мне говорить! Убеждена, что у Вашей семьи не было иного выхода...

Жизнь наша тревожна, очень тревожна, но интересна. Никогда не думала, что я до такого доживу. Мне, Наночка, как русскому литератору другого места на земле нет. Очень о многом хочется еще сказать, еще написать, а лет мне

много, и надо просить Бога продлить мои дни, чтобы все успеть...

Письма стали идти так долго, что не хотелось и писать Вам. Моя приятельница едет на месяц в Германию, пошлю это письмо с ней. И Веронике тоже сейчас напишу, раз есть оказия. У нас наше почтовое отделение в полной разрухе.

Крепко целую Вас и двух Ладо.

Любящая Вас Н. И.

Милая, дорогая Наталия Иосифовна, я всегда буду помнить вас, наши вечера, нашу замечательную дружбу. Ваша фотография у меня и в Берлине и в Москве. Мне было очень приятно писать эти строки, вспоминать вас, правда.

Юрий Карякин

ВЕРНОСТЬ СЕБЕ

Я бы определил талант очень ненаучно: это ненависть к собственной бездарности и умение ее вытравлять. Бездарность ведь может проявляться в глупости, бестактности, слабости и так далее.

Наталия Ильина была и в жизни и в прозе абсолютно верна себе и абсолютно к себе беспощадна, то есть на редкость талантлива.

Я ей часто говорил: Наташа, вы прошли через капиталистические джунгли! Жесточайшая дисциплина работы, железные планы — и никаких отступлений.

Уж будьте уверены, кем бы вы ни были, она вас выставит, эта салтычиха, если вы пойдете противу ее распорядка.

Обаяние Наташи Ильиной не в ее безупречности, а в ее ослепительных контрастах. В ней все несочетаемое соединялось гармонично: сентиментальность и сарказм, любовь к нескончаемому сериалу «Санта-Барбара» и Достоевскому, открытая доброжелательность и резкая, неудобная прямота.

Умудренность, дисциплина, воля — и в то же время удивительный ребенок в ней жил. Ну просто дитя. Она понимала то, чего мы не понимали, и в то же время не понимала ну каких-то совершенно элементарных вещей. Она была бесстрашна по незнанию, если хотите. «Ее тут не стояло», у нее наших страхов не было в крови, и она откалывала иногда такие номера! Шла на амбразуру просто по глупости: «А я не знала, что так нельзя».

Она не любила свою первую книгу «Возвращение» и наотрез отказывалась ее переиздавать. Попав под тоталь-

ное идеологическое облучение еще там, в Харбине и Шанхае, она на время потеряла ориентацию. Писала статьи, осуждающие поэзию Ахматовой, рвалась в страну победившего пролетариата. Приехала — и благодаря здоровым генам, культуре, впитанной с детства, быстро определилась, обрела себя. Даже брак ее, если хотите, символичен. А. А. Реформатский, если кто его знал, это же был абсолютно гениальный человек, ранга Ключевского, который мог на равных беседовать с Тацитом, Гердером. Это была ее атмосфера, они инстинктивно нашли друг друга. Тут, дома, в России, Ильина обрела замечательных учителей.

Я был у нее накануне смерти, буквально. Лидия Корнеевна просила передать записку, а я оставил ее в другом костюме, не смог передать и на следующий день снова помчался в больницу. Меня не пускали, наконец прорвался, вошел — и наткнулся на стену. Она меня просто выставила. Потом уж я понял, в чем дело: не хотела, чтобы ее увидели слабой, не могла себе позволить принять не подготовившись.

Даже в последние часы осталась верна себе.

Учить французский, зная, что не сегодня-завтра умрешь, тут и сам Бог, наверное, улыбнулся. О такой вере в бессмертие души, о таком доказательстве бессмертия души я еще не слыхал.

Михаил Рощин

ПУШКИНСКАЯ ЧЕРТА

Благородство — категория, стремительно убывающая в человечестве. Это та честь, та, если хотите, пушкинская черта, которая заставляет человека вести себя только так, а не по-другому, и неотменимо присутствует во всем, что он делает. Чем замечателен булгаковский фельетон «Собачье сердце»? Не изобличением Шарикова, конечно, — а профессором Преображенским, и, конечно, самим автором этого фельетона, его благородством, высотой, с которой он обо всем рассказывает.

С Наташей Ильиной нас связывала много лет переделкинская, московская, настоящая писательская дружба, хотя мы не часто виделись. Познакомились, когда вышло ее «Возвращение». Я тогда работал в «Новом мире» и был одним из первых рецензентов ее романа. Ильина была постоянным автором и почти членом новомировского коллектива. Сиживала в редакции, покуривая, многое оценивала и о многом судила по-своему — хлестко, едко, и при этом во всем, что она говорила и писала, было редкое, радующее, забытое ощущение нормы, высоты понятий.

Ильина твердо знала, к чему нельзя привыкать и от чего нельзя отрекаться, на что надо ответить немедленно, а что оставить без ответа. Если она цеплялась за какое-то неловкое, неправильно употребленное слово, она обрушивала на тебя сразу, моментально весь арсенал Реформатского. Как она ядовита была в споре, это невозможно, сколько страсти и веселого напора в ней было. Сколько мы смеялись! Помните, «В круге первом» у Солженицына, как они восстанавливают настоящий язык, в отличие от

того, каким пользуются радио, газеты и т. д., — вот Ильина занималась тем же. Кроме писательского дара и дара человеческого, благородного, она была наделена этой постоянной рыцарской отвагой — сражаться за чистоту языка, слова.

А как иначе? Разве это не наш язык? Может, и культура, и страна уже не наши? Она была не просто литератором, но, если попытаться вернуть этим словам первоначальный достойный смысл, она была *деятелем* культуры, — помните, было у нас когда-то такое звание. Вот Наташа в полной мере его заслуживает. И проявлялось это деятельное благородство, безошибочное ощущение масштаба жизни не только в ее автобиографической прозе, но и в пародиях, фельетонах, поэтому они были всегда так превосходно заострены и сделаны из того самого материала, который требуется для этого жанра.

Алла Латынина

ДАР ОБЩЕНИЯ

Знакомство наше началось в конце семидесятых. Я работала в «Литературной газете», заведовала крохотным отделом, называвшимся историко-литературным и состоявшим из трех человек (включая меня). Кроме собственно историко-литературных публикаций, мы вели нескончаемые дискуссии по русскому языку. Мне все эти разговоры о чистоте речи изрядно поднадоели, и я постоянно хотела дискуссию прикрыть. Но каждая статья о языке вызывала ворох писем (что считалось показателем читательского внимания и успеха), и зам. главного редактора «ЛГ» Артур Сергеевич Тертерян, мой куратор, насмешливо выговаривал мне, когда я являлась с предложением прекратить толчение воды в ступе: «Аллочка, это единственная дискуссия, которую может вести газета, не опасаясь, что *там* не одобрят результаты». При слове «там» он картинно закатывал глаза и делал неопределенный жест рукой куда-то вверх, будто Старая Площадь располагалась на небесах. Тертерян был много старше остальных замов Чаковского, умен, остроумен, образован и печально-циничен. Мною он не столько руководил, сколько меня опекал, и был очень откровенен в разговорах (чего никогда не позволяли себе другие начальники).

«Позвоните-ка Наталье Ильиной, — посоветовал он мне однажды, когда я в шутку пожаловалась на то, что резерв грамотных писателей исчерпан, остались только неграмотные. — Она хоть гимназию кончала. Правда, харбинскую. Зато ее педагоги уж точно не на рабфаке грамоте учились. Да и муж был Реформатский». Сам Тертерян

(вопреки армянской фамилии) говорил на сочном и колоритном русском, с московской нормой произношения, был чуток к слову, иронизировал над новоязом (хотя мне приходилось слышать, как, отвечая на звонок какого-нибудь партийного функционера, он легко менял стиль речи и чуть ли не произношение).

Я слышала, что Ильина репатриантка, но про харбинскую эмиграцию ничего толком не знала. «Ну как же, — сказал Тертерян, — она даже роман об этом написала, „Возвращение"». «Не читала», — сказала я. «Не много потеряли, — заметил Тертерян, — ей беллетристика не дается. Но перо у нее легкое. Фельетонист прекрасный». И разговор плавно перешел на фельетоны Ильиной. Многие из них печатались в «Литературке», в том числе знаменитые тогда «Мы покупаем автомобиль», «Мы ремонтируем автомобиль», «Мы строим гараж». Каждая публикация Ильиной считалась событием. Но репутацию человека острого и смелого, не боящегося ссориться с литературными чиновниками, ей создали ее литературные фельетоны в «Новом мире». «Новый мир» был разогнан, она появлялась в «Литературке» в ореоле опальной звезды, держалась надменно (как мне казалось), и я ее слегка побаивалась. В секретариате рассказывали, как она отказалась сокращать «хвост» у своей статьи (обычная газетная практика) и пришлось снимать соседний материал, переверстывать полосу, как отказалась принять правку первого зама главного редактора Сырокомского, которого все побаивались, — ворвалась к нему в кабинет, не обращая внимания на протесты секретарши, и, что самое удивительное, добилась-таки своего. (По «автомобильным» фельетонам Ильиной собирались заседания министерств, принимались постановления, писались ответы в газету на официальных бланках, но одновременно газету чехвостили на всякого рода закрытых совещаниях, так что начальству приходилось взвешивать меру риска в погоне за славой.) Меня с ней знакомили, но я думала, что она меня не помнит, опасалась, что она нащупает слабые места нашей

дискуссии и мгновенно ее высмеет. Поэтому я медлила со звонком. Но все же позвонила. Против ожидания, Ильина заинтересовалась предложением, попросила приготовить предшествующие газетные номера и письма читателей и обещала зайти. Дня через два-три она появилась в моем кабинете и стала тут же просматривать письма, забавно их комментируя. Просидела довольно долго: кто-то из коллег вошел, увидел Ильину, потом появился другой, потекла беседа, в которой солировала Ильина, было выкурено множество сигарет и выпито чашек кофе. В те годы такие спонтанные редакционные посиделки были не редкость. Иные литераторы действовали на окружающих подобно магниту. Так, стоило по делам прийти Ираклию Андроникову или Натану Эйдельману, и вокруг них моментально образовывался кружок слушателей. Ильина принадлежит к той же категории, отметила я тогда.

Через какое-то время мы случайно встретились в поликлинике Литфонда, обе проходили диспансеризацию (без чего нельзя было получить путевку в Дом творчества). Ильина приветствовала меня как добрую знакомую, завела разговор о моей статье, которая перед тем вышла в «Литгазете» (я, разумеется, расплылась от похвалы) и неожиданно сказала: «А почему бы вам не прийти ко мне в гости?».

Я пришла через несколько дней, по ее звонку, немного зажатая, не очень понимая, зачем я понадобилась знаменитой писательнице, которая на четверть с лишком века меня старше. Но через полчаса от моей настороженности не осталось следа. Наталья Иосифовна была превосходным психологом и умелым собеседником. Я много раз наблюдала ее потом в разных обстоятельствах, где почти всегда именно она оказывалась ведущей нить беседы. Она была замечательным рассказчиком, любящим солировать, но и прекрасным слушателем, точными вопросами и заинтересованной реакцией раскрепощавшей собеседника. Разговорила она и меня, мы сверили свои точки зрения на

происходящее («обнюхались», как пошутила Н. И.) и остались друг другом довольны.

В следующий раз мы пришли в гости с мужем, Леонидом Латыниным. Они немедленно нашли общий язык, и с этого времени наши встречи стали регулярными. Н. И. нуждалась в общении — и в общении с людьми разных поколений. Как-то, проведя месяц в Доме творчества в Переделкине, она заметила, что самым тяжелым для нее оказалось ощущение комфортабельной богадельни. «Старики не должны жить в обществе себе подобных, — посмеивалась она, — надо выбирать друзей помоложе». Здесь характерен глагол «выбирать». Н. И. в самом деле выбирала друзей. В том смысле, что если человек ей был интересен — она настойчиво его звала к себе, и он задерживался в этом доме надолго, навсегда (или не задерживался, что тоже бывало). Она не особенно любила соединять тех, кто регулярно посещал ее дом. Шутя она говорила, что на кухне слишком мало места. Дело однако было не в недостатке места. Ей были не по душе шумные застолья (и они ее утомляли, признавалась). Она любила неспешно поболтать на кухне за чашкой чая, пропустить рюмку-другую с нехитрой закуской. Обсудить литературные новости. Поговорить о прочитанной книге, о заметной статье, о слышанной вчера по радио передаче. Не слишком охотно, но Н. И. давала читать книги из заветного ящика бюро, «тамиздат», неукоснительно требуя только не передавать далее по цепочке и вернуть в срок. У нас тоже водился «тамиздат», обмен книгами тогда составлял важную часть интеллигентского общения. Но Н. И. непременно заводила разговор о прочитанной книге. Именно от нее мы получили «Бодался теленок с дубом» Солженицына и долго возвращались к этой книге в беседах. Новомирский автор, хоть и не близкая, но хорошая знакомая Твардовского, ценившего ее перо (они дружески, по-соседски общались в Пахре, где Н. И. проводила лето на даче у своих друзей Верейских), она принимала написанное Солженицыным близко к сердцу. Семья Твардовского бы-

ла возмущена тем, как Солженицын написал о Твардовском. Н. И. находила солженицынский портрет Твардовского точным, превосходным и не оскорбительным для памяти писателя. Осуждала Владимира Лакшина за ответ Солженицыну (именно этот ответ явился причиной охлаждения их дружеских отношений, постепенно все же восстановленных).

Не сводя вместе своих друзей, Наталья Иосифовна любила рассказывать о них. «Вчера у меня были лингвисты, вчера у меня была Люша Чуковская, на днях у меня были Федоровы...» — с этого присловья часто начинался разговор.

Иногда одни друзья помогали другим. Ильина очень ценила врачебный дар Святослава Федорова и любила рассказывать, как он вернул зрение ее старому другу Владимиру Кандаурову (герою очерка «Путешествие по Италии со старым другом»), при этом всегда подчеркивалось, что французские врачи, у которых лечился ее состоятельный друг, пациенту улучшения уже не обещали, и когда Федоров его прооперировал, сделал искусственный хрусталик и вернул зрение почти ослепшему человеку, Кандауров страшно радовался еще и тому, что ему смогли помочь на родине, которую он страстно любил, хотя почти не знал. Другая аналогичная история разворачивалась на наших глазах. Лидия Корнеевна Чуковская, почти ослепшая, но не прекращающая работать (читала с сильной лупой, писала фломастерами огромными буквами) была давним другом Натальи Иосифовны. И вот Ильиной пришло в голову, что Святослав Федоров сможет ей помочь. Лидия Корнеевна охотно познакомилась с Федоровым, но о том, чтобы лечь в больницу на исследование и, возможно, на операцию, и слышать не хотела. Уговаривали ее долго. Наталья Иосифовна с неподражаемым юмором воспроизводила реплики Лидии Корнеевны, которые я, к сожалению, не помню, а сочинить не решусь. Наконец, уговорили. В чудо никто не верил. Но оно произошло: в последние годы жизни к Лидии Корнеевне вернулось зрение, и она

трогательно радовалась этому. А уж как радовалась Наталья Иосифовна, возвращаясь к перипетиям этой эпопеи... Память ее цепко фиксировала реплики собеседника (возможно, она сочиняла, так сказать, «литературно обрабатывала» эти реплики, сообщая им дополнительную дозу комизма). Все ее рассказы всегда были исполнены иронии. Она не щадила своих собеседников, но не щадила и себя. Особенно когда рассказывала о харбинском детстве, шанхайской юности и первых годах пребывания в СССР.

Она приехала в СССР в 1947 году, с группой эмигрантов (ехало более двух тысяч), возвращающихся на родину. Родины, разумеется, не знала и не понимала — увезли ее маленьким ребенком. Приезжала она в неведомую страну сложившимся человеком, закаленным борьбой за существование в бедной стране, да еще в военное время. Как-то я задала ей вопрос, который, наверное, задавали сотни раз: не жалела ли, что вернулась? Она ответила энергично: никогда. Она нашла себя, она стала писателем, она встретила Реформатского, и даже мать, Екатерина Дмитриевна, убежденный противник большевизма, вопреки воле которой она уехала в СССР, в конце концов тоже вернулась в Москву к дочери. Но я не сдавалась и поставила вопрос по-другому: если бы она трезво могла оценить риск такого возвращения (ведь многих репатриантов арестовали), — поехала бы все равно? Она засмеялась и ответила парадоксом: «Большое счастье, что я была такой дурой».

К тому времени, когда мы познакомились, от ее былого увлечения марксизмом и желания стать советским человеком не осталось следа. Диссидентов уважала, перед Солженицыным и Сахаровым преклонялась, восхищалась силой воли Лидии Корнеевны Чуковской, дружила с ней, но участвовать в этой борьбе не хотела. Однако не было такой силы, которая могла бы ее заставить поставить подпись под письмом, которое она считала «недостойным», принять участие в травле диссидентов. Однажды в разго-

воре о Солженицыне (которые возникали часто) зашла речь о призыве «жить не по лжи». Наталья Иосифовна сказала: «Человеку нельзя прощать подлость, но никто не вправе требовать от него героизма». Достоинство, честь — это для нее были важные понятия. «Он потерял лицо», «он вел себя недостойно» — это были резкие оценки в ее устах.

Одна из ранних ее статей в «Литературной газете» (1967 года) называлась «А если не подать руки». Я случайно наткнулась на нее, пролистывая старые подшивки «Литгазеты». Статья начиналась с описания такой сцены. Некая знакомая автора входит в начальственный кабинет, хозяин кабинета пытается ее познакомить с другим посетителем, приятельственно там расположившимся, и слышит в ответ: «Мы с NN знакомы. Только я не подаю ему руки». Что ж в ответ? Хохот обоих. Экое наказание — руки не подает. Старомодные церемонии. «Это раньше, это когда-то бросали в физиономию перчатку, вызывали на дуэль, отказывали от дому и не подавали руки», — рассуждает автор. «Наталья Иосифовна, — спросила я, оказавшись у нее в гостях. — Я тут вашу давнюю статью прочла. У меня один вопрос: Ваша знакомая, которая объявила, что не подает руку подлецу, — это ведь вы сами?».

— Как догадалась? — спросила Ильина. (Мы были на «Вы», но иногда, во втором лице, она употребляла глагольную форму единственного числа: «что читала?», «что делала?» «что думаешь»?)

— Несоветское воспитание проступает, — ответила я.

Ильина засмеялась. В первые годы возвращения в СССР ей очень хотелось стать советским человеком, но в пору, когда я ее знала, она была довольна, что так им и не стала.

Ее фельетоны в значительной степени замешаны на этой ее бытовой несоветскости. Человек, выросший в советских условиях, привыкает к неприветливым лицам продавцов, очередям, хамству работников ЖЭКа, грязи в

подъездах, вечному дефициту, показухе, собраниям, на которых звучат фальшивые речи. Это не значит, что ему все это нравится, но он и не думает протестовать.

Она смириться с этим не могла. Ежедневное столкновение с бытом заставляло ее каждый раз взглянуть на происходящее глазами этакого простака, который никак не может принять абсурд происходящего. Как-то в Малеевке, где мы проводили летний месяц, мы отправились на ее машине за покупками в Старую Рузу. Прилавки были пусты, молоко и масло расхватывали с утра, но нужный нам сахар, чай, конфеты и печенье имелись на витрине. Но не было продавца. Отдел закрыт. Я покорно произнесла: «Не повезло». И повернулась уходить. Но Н. И. сказала:

— Не понимаю, что значит закрыт отдел, если открыт магазин.

— Продавщица ушла, — отозвался кто-то (уж не помню, что там у нее случилось).

— Так поставьте другого.

— Она за товар расписывалась.

В общем, Н. И. позвала заведующую и как-то весело объяснила ей, что покупателю нет дела до того, кто из продавцов расписывался за товар. Не знаю, почему заведующая стала за прилавок и отпустила нам все, что мы хотели. У меня такой фокус точно бы не получился. Была в ней какая-то уверенность и величественность, когда она вступала в такого рода объяснения, без тени склочности и хамства. И люди почему-то это чувствовали.

«Вчера я была в химчистке, сегодня я отправляла бандероль, вчера было собрание ЖСК», — с подобного зачина часто начинался забавный рассказ. Она, конечно, подправляла, а то и сочиняла реплики своих героев, но рассказ был таким смешным и таким достоверным, что слушатели начинали хохотать. Иногда требовали: «напишите фельетон». Порой дело этим и кончалось. Так, знаменитый фельетон «Как я продавала автомобиль» родился из многочисленных рассказов друзьям об этом событии

(или, возможно, она обкатывала на друзьях сюжет). Но многие из таких устных новелл так и остались незаписанными. Вспомнить или пересказать их нельзя — так много значила в рассказе интонация самой Натальи Иосифовны, ее острый глаз, чувство юмора, артистический дар. Вот ей надо купить диван, сунулась в магазин, а там пусто. Узнала, что есть какие-то талоны в Союзе писателей. Получила. Поехала в магазин. Пустой номер. И тут появляется эффектная блондинка — директор магазина, говорит: «А я ваша поклонница». Так родился устный рассказ «прекрасная мебельщица». Тщетно пытаться его пересказать: тут важна интонация самой Н. И, ее самоирония, ее тонкое чувство абсурда происходящего, ее артистизм, наконец.

Героями одного из таких рассказов Ильиной стали мы сами, и слушая в ее пересказе происшедшую с нами историю, я многое поняла о том, как возникают ее фельетоны. Покупка автомобиля в ту пору была возможна лишь по спискам предприятий, очереди ждали много лет. Союз писателей тоже имел такие списки, причем записывались мы вместе с Наталией Иосифовной — вместе и очередь подошла. Весной 1984 года мы получили открытку, извещающую, что мы имеем право в течение скольких-то месяцев купить автомобиль. Поехали в магазин. Оказывается, право получить машину у нас есть, но «придется немного подождать». Месяца два-три. Может, полгода. «Что вы волнуетесь — открытка действительна до конца года». Но нам было важно купить машину в начале лета, а не осенью. Поспрашивали у знакомых. Кто-то полистал записную книжку и продиктовал телефон некоего Петра Петровича (назову его так, имени все равно не вспомню), который может «поспособствовать». Петр Петрович оказался сущим бессребреником: от денег отказался, а вот дефицитные книжки попросил. В назначенный день мы явились с пачкой книг причудливого подбора (Ахматова, Цветаева, Булгаков, «Современный западный детектив», Лем и Бредбери), и на нашей открытке появилась зако-

рючка, означающая, что можно платить деньги в кассу и получать машину. И тут я сказала: «А Наталья Иосифовна? Мы же в одном списке, и ей тоже не хочется откладывать покупку».

В общем, Петру Петровичу был поведан рассказ про Ильину, прерываемый звонками и просьбами посетителей. Он заглянул в списки Союза писателей и неожиданно махнул рукой:

— Пусть приезжает.

— Когда?

— Да прямо сейчас.

Мы бросились звонить Наталье Иосифовне. Одни автоматы, как водится, глотали монеты, но не соединяли, у других была очередь. Наконец дозвонились.

— Я только что вышла из ванны и вымыла голову, но не высушила, — поведала Наталья Иосифовна. Но ситуацию оценила и пообещала: — Иду в сберкассу и скоро буду.

Через полтора часа она подъехала. Голова была закутана в шелковый тюрбан, в руке — собственная недавно вышедшая книга. Я осведомилась, что означает этот странный головной убор.

— Я не успела снять бигуди, — величественно ответила Наталья Иосифовна.

В этом тюрбане она и провела оставшуюся часть дня, с ее суетой, оформлениями бумаг и бесконечными ожиданиями. Наконец, машина была получена.

— Ну что, Даша, поедем домой, — сказала Н.И., похлопав автомобиль по капоту.

— Почему Даша? — спросили мы.

— Не знаю, само вырвалось, — ответила Н. И. — Наверное, ты у меня последняя, — задумчиво добавила она. Так и случилось...

На следующий день она позвонила: автомобили надо обмыть. Мы приехали с вином. Пришли Лакшины. Эпопея с покупкой автомобиля была рассказана во всех подробностях. Н. И. ничего не присочиняла, сколько могу судить. Но то, как она с мокрой головой и в бигудях выска-

кивала из ванной, как мчалась в сберкассу снимать деньги, как разговаривала с остановившим ее гаишником, как общалась с продавцами и механиками, как выбирала машину, как заискивающе просила хороший цвет, — все это было пронизано такой самоиронией, что ее рассказ все время прерывался нашим смехом. Кстати, о цвете.

— Какой вы хотите цвет? — поинтересовалась у меня Н. И., пока мы сидели в ожидании бумаг.

— Любой сойдет, лишь бы не ярко-синий, — ответила я. Дальше в ее рассказе нам выкатывали ярко-синюю машину ненавистного цвета, а я начинала убеждать мужа, что цвет, в общем, не так уж и плох, да что там не плох — просто хорош. Этого не было. Но мы не протестовали и весело смеялись. Действительность претворялась в литературу на наших глазах.

Он никогда не был записан, этот устный рассказ. Как и многие другие. Но если не слышать этих рассказов Ильиной — нельзя понять, почему общение с ней доставляло такое удовольствие людям разных поколений. Большинство писателей — довольно угрюмые и неразговорчивые люди, словно экономящие слова для книг. Н. И. не боялась тратиться. Как личность, раскрывающаяся в общении, она была едва ли не талантливей своих книг.

Свои тексты она, очевидно, сначала «слышала», а потом видела записанными. Этим, должно быть, и объясняется хорошо известная ее друзьям потребность прочесть вслух только что написанное или находящееся в процессе работы. Она читала статьи, фельетоны и главы своей мемуарной прозы, иногда прося совета. Ну, например: не слишком ли резко получилось об отце. Получив совет, на следующий день отзванивала: вы мне так помогли. В действительности она нуждалась не столько в совете, сколько в разговоре на данную тему.

В перестройку она ожила, радовалась тому, что столько всего издается, радовалась своей востребованности, с удовольствием писала статьи для «Огонька». Иногда раздражалась обилию вдруг нахлынувших журналистов, бро-

сившихся брать у нее интервью и задававших дурацкие вопросы: особенно не любила вопрос «почему вы вернулись?». Когда началось дворянское движение, Н. И как столбовую дворянку приглашали в дворянское собрание. Она советовалась с нами: что там за люди, как мы вообще относимся к попыткам возродить дворянство? Посмеиваясь, я рассказала про звонок, раздавшийся у одной моей приятельницы, тоже имевшей дворянские корни. «С вааами говорят из английского клубааа, — прозвучал женский голос, медленно растягивающий гласные. — Мы хотим пригласить вааас...». «Вы хотите пригласить меня на дерби?» — учтиво подсказала моя подруга, исполненная скепсиса. Наталья Иосифовна расхохоталась. Она чтила тех своих славных предков, кто оказался незаурядной личностью, но кичиться родословной после семидесяти лет советской власти казалось ей нелепым. А в нашей речи появилось новое кодовое выражение. «Меня вчера опять звали на дерби», — сообщала Н. И. об очередном звонке активистов дворянского движения. Так ее туда и не заманили.

Она уже уставала, годы брали свое. Реже садилась за руль машины. В середине восьмидесятых она была еще невероятно, по-юношески легка на подъем, несмотря на свой артрит, сковывавший руки и ноги. Вспоминается такой случай. В 1984 мы отправились вместе в Малеевку, в Дом творчества писателей. Она предложила за мной заехать, сто с лишним километров мы проскочили, не заметив за разговором. Выбрали стол, расположились, погуляли, вокруг Н. И., как водится, сразу же образовался кружок слушателей. Наутро она просила меня зайти за ней, чтобы вместе идти на завтрак. Захожу, стучу — не откликается. В столовой не была, не завтракала. Спрашиваю на вахте — ключ сдан. Значит, куда-то ушла. И машины нет. Пропала. Я стала волноваться: в ее планы не входило куда-нибудь ехать с утра. Появилась Н. И. к обеду, зашла за мной.

— Наталья Иосифовна, куда вы подевались! — сказала я с укоризной. — Я вас все утро ищу.

— Мне надо было оставить вам записку, виновата, — откликнулась она. — В Москву ездила.

— Что случилось?

— Просто обнаружила, что забыла свою любимую кофточку. Ну и еще несколько туалетных мелочей, бигуди, гребенку (она не выносила слово «расческа»).

— А в Рузе купить нельзя? — укоризненно осведомилась я.

— Можно, наверное, но я себя знаю, весь месяц буду раздражаться. Проще домой съездить.

Я подумала, что мне бы это было не проще. Эпизод этот мы часто вспоминали. И в конце восьмидесятых — начале девяностых, отказываясь от приглашения в гости или на какой-нибудь вечер, она иногда говорила: «Нет у меня уже того азарта, чтоб двести верст за гребенкой ехать».

Но азарт сидеть за пишущей машинкой был. Задумывала новые главы воспоминаний, новые статьи, восстановила цензурные сокращения, сделанные в книге «Дороги и судьбы», дополнила некоторые главы.

В 1991 году вышло новое издание этой книги. В августе мы несколько раз договаривались встретиться. Она хотела подарить книгу и еще — поговорить о моей статье «Когда поднялся железный занавес», вышедшей в «ЛГ» в конце июля. Статья ее «зацепила», как она выразилась. В ту пору эмиграция третьей волны была в моде и в чести, людей, при советской власти обвиняемых в предательстве, превозносили как героев за один уже факт отъезда из СССР, и молодые журналисты договаривались до того, что чуть ли не в трусости и колаборационизме обвиняли оставшихся. У нас были друзья, жившие в Париже и игравшие немаловажную роль в диссидентском движении, в годы перестройки мы с ними немало встречались, радостно обсуждали новости. Но в какой-то момент началось расхождение, и мы с грустью констатировали причину: бывшие диссиденты, представляющие порабощенную Россию за рубежом, не так уж хотят, чтоб она стала свободной. Я сказала в статье, что эмиграция право, а не обязанность,

что оставшимся в СССР нечего стыдиться, потому что не может интеллигенция огромной страны дружно рвануть в эмиграцию, что история России происходит в России, и что у нас с эмиграцией разные интересы: они смотрят спектакль, и чем сильнее громыхнет на сцене, тем интереснее, а мы — участники пьесы.

Резонанс был немалый, радио «Свобода» ругало меня чуть не ежедневно, в «Русской мысли» устроили обсуждение, где мне тоже доставалось, полосу подготовила и «Литературная газета».

Н. И., сначала имевшая к статье некоторые претензии, в результате этих дискуссий объявила, что полностью меня поддерживает и собирается написать статью в «Литературную газету». И тут громыхнуло 19 августа.

Мы бегали к Белому дому, Н. И. звонила и требовала точных отчетов о происходящем, настроение ее менялось от отчаяния к надежде. Наконец, ГКЧП испарился, и всеми овладела эйфория. В этом состоянии мы и пришли к ней в гости, и говорили, конечно же, вещи, которые сейчас немного неловко повторять. «Вам, мои дорогие и уже давние друзья, Алла и Леня, эту книгу, все ту же, но с фотографиями и дополнениями», — сделала Н. И надпись на книге «Дороги и судьбы», и добавила: «В незабываемые августовские дни 91 года. 23-го». А статью она написала чуть позже, ее опубликовали в «ЛГ» от 16 октября 1991. Называлась «Из-под одного сапога». В начале статьи воспроизводился разговор с Олегом Лундстремом, о котором она еще раньше рассказывала мне подробно: «Заметил ли ты, — спросила я своего старого друга Олега Лундстрема, приехавшего из Шанхая вместе со мной, — что нам приходится уже чуть ли не оправдываться в своем возвращении», писала Ильина. «Мало того, — откликнулся Олег. — Здешние пытаются меня убедить, что мы, очутившись в Казани, были очень несчастны. А мы ведь совсем не были несчастны». Отказываясь видеть в тех, кто на площадь не выходил и в тюрьме не сидел, пособников режима, напоминая о «Новом мире» Твардовского, о

десятках отличных книг и прекрасных спектаклей, Ильина в очередной раз отвечала на вопрос, зачем она вернулась. И я горда тем, что она одобрительно процитировала подзаголовок моей статьи: «История России происходит в России».

Николай Шмелев

ХРАНИТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ

«Борьба за право писать плохо продолжается» — эти слова можно было бы в бронзе отлить при входе в Дом литераторов. Наталия Ильина, если хотела, могла быть убийственно злой. Многие ее хлесткие фразы войдут в фольклор как характеристика эпохи, наряду с «папа юрист, а мама русская» или «хотели как лучше, а получилось как всегда».

Она была распахнутым человеком, у нее все шло от природы — и гнев и милость. И тем не менее она всегда исходила из презумпции невиновности, шла навстречу, заранее полагая, что на дружелюбие вы отзоветесь дружелюбием, на прямоту — прямотой. По английской пословице «первым здоровается тот, кто умнее» она всегда здоровалась первой.

Нас жизнь свела в Малеевке. Я высоко ценил все, что она написала, но вечная наша неуклюжесть, я потом корил себя, ну что бы тебе самому-то не сделать первый шаг: Наталия Иосифовна, позвольте к ручке приложиться?.. Нет, сидел, пух чего-то, а она — весело и прямо, через все столы: «Мне нравится то, что вы пишете. Давайте дружить». Ну так она меня обезоружила!

Наталия Ильина исключительно знала и ценила культуру общения. Знала, что уж ежели хочется друг друга повидать, нужны кое-какие усилия, небольшой маневр. Начиная с макияжа — ни разу не видел ее, что называется, не в форме. Это одно из самых светлых, что у меня в жизни было, сидеть за столом у нее на кухне, говорить обо всем, с каким-то характерным для нее — никакого мино-

ра, но без бодрячества — особым акцентом: да, конечно, все хреново, все куда-то катится не туда, но ничего, ничего, как-нибудь выберемся. Лучик надежды от нее всегда бежал. И покойный Реформатский, и сама Н. И. своим существованием напоминали, что есть хранители огня. Сидишь рядом, и хотя ей под восемьдесят, все равно чувствуешь себя под защитой. Понимаешь — рядом с ней особенно остро — что все это околокультурное кривлянье, фальшь, липа, которые обрушились на нас, — все выдумано безграмотными людьми, которые, ах, в пятьдесят лет Пруста прочитали. А надо было в четырнадцать.

Думаю, это знакомо многим: человек своими суждениями и просто присутствием вселял уверенность, что жизнь есть жизнь, и чем больше все изменяется, тем вернее все остается по-старому. Человечество существует тысячелетия, язык — тысячелетия, и поиски какого-то выхода тоже тысячелетия. И никаким дешевым фанфаронством все это не изменишь.

Мне приходилось у нее за столом рассказывать такой эпизод. Хозяйка дома подводит к Льву Любимову, репатрианту, из крупных царских сановников, очередного гостя: «Знакомьтесь, Дмитрий Ухто́мский, фотокорреспондент». Любимов поднимается с дивана: «Знавал я батюшку вашего, князя У́хтомского». Так вот, Н. И. никогда бы не поставила неправильного ударения. Потому что Ухтомские впервые в XII веке помянуты, Рюриковичи, и все это наша история, наша жизнь. Но вот какая-то заминочка произошла после семнадцатого года, и ударение сдвинулось куда не следует. И людей сдвинуло, шибануло по всему свету... Уверен, что космополитизм в высшем смысле вмещает горячий, яростный патриотизм. Это гражданин мира, впитывающий лучшее, что в мире есть, — и к себе, к себе, в свою культуру. Когда думаешь о Наталии Ильиной, людях ее круга, понимаешь, что традиционный конфликт западников и славянофилов — это конфликт ограниченных людей. И те правы, и эти, и из этого что-то растет... а что, одному Богу ведомо.

Ильина была абсолютно на месте, абсолютно естественна, абсолютно своя в Аризонском университете, где читала студентам по-английски. Я потом был у них, хорошие ребята и кое-что понимают. Она была своей и в Париже. И, надо полагать, в Шанхае. А уж дома-то... Дома Наталия Ильина с ее русскою душою не одну душу выпрямила. И при всем том — грубое, но точное слово — ничего «русопятого» в ней и в помине не было. Она была русским человеком, у которого есть некоторые основания претендовать на то, что он в мире далеко не последний, что он хранитель огромной культуры.

В моей жизни, а я тоже не молод, вряд ли еще встретятся такие светлые люди, как Наташа Ильина. Спасибо ей.

Леонид Латынин

ЛИЧНЫЙ РИТУАЛ

Привилегия народа — обряд — общий.

Привилегия королей — ритуал — личный.

У Натальи Иосифовны было два личных ритуала — чаепитие с лингвистами, учениками ее мужа, Реформатского, — по четвергам.

И ритуальное общение с выбранными ею друзьями.

Поскольку четверговые посиделки описаны подробно главными действующими лицами — лингвистами, остановлюсь на втором ритуале — *вечерних рабочих чаепитий*.

Ритуал состоял из двух частей. Мест действия было тоже два.

В первой части общение происходило в гостиной, в небольшой комнате с книгами, с портретом над диваном юной Елизаветы Васильевны Мусиной-Пушкиной, урожденной Толстой, родственницы Н. И., очень похожей на портрет «Прекрасной незнакомки» Крамского. Кроме дивана, в гостиной было еще несколько кресел и секретер, на котором стояла фотография племянницы Н. И. — Вероники Жобер.

История появления дивана и кресел в квартире Н. И. — отдельная история, имевшая отношение и ко временам всяческого дефицита, и к характеру Н. И.

Вторая часть ритуала происходила на небольшой кухне с круглым столом у окна и стульями, которые приходилось регулярно чинить.

В гостиной мы занимали диван, а Н. И. усаживалась в кресло, стоящее во главе журнального столика, и обязательно либо читала новый, находящийся в работе текст,

либо (тема встречи, судя по всему, выбиралась заранее) проговаривала и формулировала предтекст очередной главы ее постоянно пополнявшейся книги «Дороги и судьбы».

Собеседник как бы способствовал оживлению памяти и переводу памяти в слово.

Несмотря на все попытки традиционно кухонно поговорить обо всем на свете в практикуемом жанре «Бриан — это голова», который был част в ту пору на московских кухонных туземных форумах, Н. И., умелый целенаправленный режиссер, возвращала собеседника к теме, выбранной ею в данный вечер.

Все замечания, возражения сортировались, трансформировались и превращались уже потом в окончательный текст. Думать вслух хотелось, ибо Н. И., опытный психолог, даже за тень мысли, высказанную в обсуждении, была благодарна искренне и многократно. Более того, во время обсуждения очередной статьи воспроизводились комментарии и предложения предыдущего участника встречи, также с интонацией благодарности.

Наиболее частым слушателем новых текстов и новых тем на моей памяти был В. Лакшин до их расхождения, но и после этого Н. И. не раз поминала Владимира Яковлевича добрым словом.

Причиной расхождения, конечно же, были не бытовые разногласия. Отношение к Солженицыну охладило их очень дружеские отношения. Мне жаль было общих встреч Нового года, когда романсы и бесконечные истории В. Я. делали текущий праздник событием незабываемым и домашним. А грибные посиделки в Малеевке, с родившейся тогда фразой — «Мы никому ничего не должны»... Н. И. тоже было жаль расставаться с этими застольями. Но ее отношение к Солженицыну было преданным и последовательным.

В этом тоже сказывалась нездешняя цельность ее, не разрушенного советским периодом, благородного характера.

Н. И. либо хорошо говорила о человеке и общалась с ним, либо плохо — и тогда личное общение было невозможно.

Во время одной парижской встречи, будучи в гостях у Синявского и Розановой и услышав резкие слова о Солженицыне, Н. И. сказала этой паре, что не может слышать хулы в адрес Солженицына и если они будут продолжать, то она немедленно оставит их дом.

Синявские вняли ее просьбе.

Многие в аналогичной ситуации ведут себя иначе.

Сам я в том же Париже, в бывшей мастерской Сальвадора Дали, а ныне — доме моих друзей Клода Фриу и Ирэн Сокологорской, услышав от Синявских нечто похожее (а это, судя по всему, был их главный страстный мотив), испытал не раздражение и желание возразить (хотя совершенно разделяю отношение Н. И. к Солженицыну — не знаю по силе характера, дару раскованного обращения со словом и той роли, что сыграл этот человек в истории второй половины прошлого века, другой равной ему личности), — я испытал сострадание к Синявскому, который, несомненно, был бы в отсутствии Солженицына первым писателем советской эмиграции.

Солженицын своим существованием отнял у них целое царство с подданными, поклонниками и казной.

Это трудно пережить равнодушно. Они искренне, пылко и инициативно стали, можно сказать, родоначальниками эмигрантского антисолженицынского черного пиара, который, при заметном участии советских спецслужб, сыграл разрушительную, ранящую роль в жизни А. И.

Тогда мне захотелось, грешен, не в пересказе, а из первых уст услышать сумму претензий среднего литератора к большому писателю. Услышал. Страстно. Риторично. Тускло.

Интонация ненависти — это всегда проигрыш таланту, культуре и справедливости.

Уверен, что в этой ситуации Н. И. либо ушла, либо заставила бы их замолчать.

Возможно, в этом тень ушедшего из нашей жизни кодекса цельности и единственности стиля поведения русского дворянства — «в равенстве со всеми живущими»,

утраченного нами. Невозвратно. Культура достоинства и чести — не наш жанр. Зато мы совершенны в обывательском фарисействе.

Помню шок, пережитый мною. Одна известная либеральная московская поэтесса, узнав от меня, что в моем доме находится наша общая сербская переводчица, по телефону обложила ее отборной бранью, а, приехав ко мне, бросилась к той на шею со словами, как она соскучилась, и какая та прелесть, и как она ее любит. И при этом победно смотрела на меня: как лихо она может быть на моих глазах о двух лицах. Московское фарисейство образовало некий мир двух-трех-личия, замкнутый, уравновешенный, со своими строгими правилами поведения, нарушать которые считалось дурным тоном.

Попадая в этот наш мир, Н. И. либо его меняла и заставляла жить по своим единым правилам, либо сторонилась его.

Так вернемся к ритуалу.

Заканчивалась не праздная часть встречи в гостиной. И совершался переход на другую территорию, территорию опять же не московской кухни. Ибо другая часть не праздной встречи имела свое продолжение, переходя к более мелким, частным деталям, чаще всего имеющим отношение к будущему тексту или будущей книге. Возникали и общие разговоры на общие темы, но они были только фоном и не более.

Главное же в этом ритуале для меня было знакомство со словарем, интонацией, жестом, музыкой другого незнакомого социального языка. Привезенного из предыдущей эпохи и сохраненного и используемого Н. И. в обычном и знакомом нашем обиходе.

Путешественники во времени для меня были интересны именно своим удивлением перед нашим бытом, который мы воспринимали как должный и естественный.

Оказалось, что общий язык культуры имеет несколько наречий, лишь внешне похожих на этот общий язык. Одни и те же слова, звуча орфоэпически одинаково, имели на-

столько разную семантику в контексте иной системы воспитания и географии, что для меня беседы были еще и уроками другого незнакомого типа понятийного сознания.

Я так и не сумел себе объяснить загадочную твердость и даже жестокость непрощения отцу Н. И. того, что он оставил их своей заботой в эмигрантские унизительные, лихие годы. Мне кажется, что она не прощала оставленность не только отцу, а скорее той прежней России, допустившей рассеяние своих детей на все четыре стороны света, от Харбина до Австралии, не дав им с собой куска хлеба и надежды на возвращение.

Отсюда же слепая неосведомленная любовь к новой России, которая, осилив Гитлера, только что доказала всему миру, что она сильна и непобедима, и в которой, наверное, жизнь лучше и неунизительней, чем в эмиграции, ибо унизительней — уже некуда. И нужно же на что-то надеяться, и нужно же во что-то верить.

Это представление Наталии Ильиной — из Рюриковичей, Воейковых и Толстых, — и определяло ее многие тексты и жесты по возвращении в Россию.

Уходили всегда заполночь. Иногда везли попутно милых Верейских, иногда Риту Тимофееву и других, всегда прекрасных, преданных друзей, любящих Н. И., в которой сохранились черты ушедшей из нашего быта навсегда — дворянской, рассеянной, забытой и утраченной России.

5. Заказ № 718.

Людмила Сараскина

КРУГ ЧТЕНИЯ

Я знала Наталию Иосифовну последние пять лет. Мы встретились на одном из «Круглых столов» газеты «Московские новости». В перерыве она сама подошла ко мне и предложила познакомиться поближе. До этого я много раз слышала о ней от Ю. Ф. Карякина и Б. А. Можаева, которые неизменно говорили о Наталии Иосифовне с почтением и восхищением. Мне бы не пришло в голову просить кого-то меня ей представить, — зная ее нрав, я понимала, что из такого знакомства могло ничего не получиться. А тут — она меня выбрала сама. Она любила и умела общаться с теми, кто стал ее кругом; умела разговорить собеседника и была внимательнейшим из слушателей. Трудно назвать ее «разговорное общество» салоном — так несалонны были беседы, случавшиеся в доме Наталии Иосифовны. Она неизменно восхищала меня прямотой и независимостью — Ильина всегда была хозяином положения, господином разговора. И в то же время я видела, что она полна тревоги, чутка к дисгармонии. Все, что она писала в последнее время, содержало эти тревожные ноты.

Одна из последних ее статей в книжке «Белогорская крепость» называется «В кругу чтения». Очень коротко: она в больнице на каком-то обследовании. Июнь, жара, тоска, шарканье тапочек… «Больная, опять кружку в столовой забыли!» Одиночество и унижение, которые испытал каждый советский человек в советской больнице. У нее на столе «Оливер Твист», и она ныряет в чтение с наслаждением, чтобы отрешиться от больничного быта. И рядом — новая переводная книжка, модная. Эрика Джонг,

«Страх памяти». Неважно, могла быть и другая. Заглянула: может детектив? Нет. Скорее на порнуху похоже... И вот Наталия Иосифовна говорит: не хочу, не буду читать эту дрянь. Буду лучше перечитывать Диккенса. И тут же себя корит: не ханжа же я, это теперь мода такая, раздеваться на людях. Надо шагать в ногу. И она очень живо в ироническом пересказе показывает, как нормальный человек отодвигает, отталкивает от себя эту попсовую, китчевую культуру, которая прет на нас со всех сторон — из телевизора, из глянцевых журналов, отовсюду. Она эту литературу вставляет в разные ряды, перемежая Тургеневым, Гончаровым, Мориаком... И с недоумением разглядывает на обложке фотографию автора — «озорной», как сказано в аннотации, блондинки Эрики, поклявшейся ничего не стыдиться. И тут, пишет Ильина, из недр памяти всплыло:

«Блон-ди-ночка... мерзавочка... хорошего дома, воспитания, и — монстр, монстр!» Стоп. Да это же «Бобок»! (Наталия Иосифовна тогда, не без влияния Юрия Федоровича Карякина, много перечитывала Достоевского.) Заголиться, обнажиться и показать себя с голой задницей, извините! — они полагают, что это они выдумали, все это подполье, эту беспардонность и бесстыдство, за которыми ничего нет, кроме пустоты. Да все это уже было! Они все *уже были*. Все знал, все предвидел омский каторжанин Федор Михайлович.

Последний месяц Наталия Иосифовна тоже провела в больнице. Круг замкнулся. На тумбочке у нее опять лежали книги. Меня она попросила принести, — ни за что не догадаетесь — «Алису в стране чудес» на английском.

Александр Кабаков

ПРИМЕР СВОБОДЫ

Втайне примеряясь к литературным занятиям, начитавшись классики и ремарков с хемингуэями, я с тоской оглядывал существовавшее в конце пятидесятых литературное поле и даже будучи мальчишкой понимал, что это поле после битвы. Почти ничто живое там не шевелилось, и, мне казалось, маловероятно, что взойдет, если попытаться бросить сюда семена. Еще не было блестящих «звездных мальчиков» катаевской «Юности», только основательный и хмурый «Новый мир» держался. Но там я не чувствовал эха. Городской, интеллигентской иронии, чуть легковатой игры там не водилось...

И вдруг — Наталия Ильина. Оказалось, что литературу и журналистику можно делать совсем не такую, какую «положено», а местами — даже такую, какую совсем «не положено». И это публикуют! По недосмотру? Непониманию? Или просто потому, что не опубликовать боятся еще больше, чем опубликовать? Оказалось, можно писать честно, зло, смешно, без надутых щек. Дошел слух: Ильина из репатриантов. Было известно, что ее земляков, оркестр Лундстрема, пока они не стали «полностью советскими», выдерживали в Казани. Еще был Вертинский... И вдруг — писатель, да еще фельетонист!

Наталия Иосифовна — одна из тех, кто в моей собственной жизни сыграл огромную роль, причем на расстоянии. Люди, подобные ей, убеждали, что не обязательно в полную меру унижаться, врать и ловчить, чтобы писать и печататься. Здесь и сейчас. Ильина, которая должна была бы здесь чувствовать себя более чужой, чем мы все, ока-

залась внутренне более свободной, чем все свои. А свобода распространяется через заразительный пример: появление одного свободного человека делает свободными сто и т. д.

Меня познакомили с ней, — за что я бесконечно благодарен — увы, в ее последние годы. Она оказалась именно тем человеком, которого я читал. К сожалению, сплошь и рядом бывает по-другому: читаешь одного человека, умного, тонкого, блестящего, а беседуешь с недалеким, хамоватым и скучным, так что хочется спросить документы — уж не ошибка ли тут какая? Наталия Иосифовна абсолютно совпадала с написанным ею — бесконечно интересная, яркая, неподражаемо живая. От нее исходила грустная ирония, легкая, с полуулыбкой. Мне кажется, что она была образцово подходящим для литературного занятия человеческим типом.

Нам здорово повезло, мы немало лет прожили одновременно с ней.

Ирина Питляр

ПИСАТЕЛЬ ГОВОРЯЩИЙ

«Где-то в районе» (как теперь говорят) конца 1956 — начала 1957 года Наталия Ильина, очень тихая, скромная и скованная, пришла к нам в отдел критики и литературоведения «Литературной газеты». Мы заочно уже были знакомы с нею по фельетонам и пародиям, появившимся в печати, и встретили ее радушно. И она, познакомившись с нами поближе и поняв, что попала в родственную среду, как-то враз оттаяла и заблистала всеми гранями своего живого, яркого, многоцветного характера и, что почти одно и то же, дарования... Хорошо нам всем тогда, в начале «оттепели», острилось и писалось.

Однажды, помню (и Н. И. это тоже часто вспоминала), сообща нашли объект для ее очередной пародии — советский шпионский детектив. Тут же кто-то сбегал в библиотеку, притащил груду чтива, вместе стали развивать тему. Пародия получилась у Н. И. роскошная, чего не скажешь о ее литературной судьбе. Всеволод Анисимович Кочетов, которого, к несчастью, мы заполучили в качестве главного редактора, пародию с негодованием отверг: «Клевета на наших доблестных советских разведчиков!». Та же участь постигла ее в «Крокодиле» и во всех других изданиях. Потом Ильина смешно напишет о том, как этот опус долгое время «кормил» ее (тогда еще принято было оплачивать «непошедший материал»).

Вскоре в «Знамени» появилась первая книга романа «Возвращение». Меня к этому часу уже «ушли» из «Литературной газеты». «Ушли» почти весь отдел, Кочетов пришел в ЦК и заявил: «Они мне мешают!». Мы ведь дей-

ствительно ему мешали как могли. К примеру, одну за другой отвергли разгромные статьи о романе Дудинцева «Не хлебом единым» и т. п. Однако это уже другая история.

Дружеское общение с Н. И. продолжилось, мы изредка встречались и часто перезванивались. На первую книгу «Возвращение» я откликнулась добродушной рецензией. Н. И. держала меня в курсе работы над второй книгой, советовалась, уточняла детали нашей прошлой жизни, которые, по ее мнению, мне должны были быть лучше знакомы, чем ей. Один раз, когда я позвонила, а Н. И. не оказалось дома, мы долго и с пристрастием обсуждали с Александром Александровичем Реформатским ход работы над романом; оба, помню, сетовали на то, что Н. И. решила убить Толю Голубева, одного из самых симпатичных героев, что не внемлет она нашим мольбам оставить его в живых... Над второй книгой Н. И. работала почти восемь лет. Поражала меня тогда (и потом тоже) ее поразительная работоспособность и железная организованность, — качества как будто бы противоречащие ее легкому (на первый взгляд, только на первый взгляд!), «искрящемуся» нраву. Меж тем она могла долгими часами просиживать в библиотеках и архивах, сверяя свои давние жизненные наблюдения и впечатления с материалами книг и газет того времени, добиваясь документальной точности описаний. Все мы еще верили тогда, что газетные листы преподносили нам правду. На появление в «Знамени» второй книги романа я тоже отозвалась в печати вполне тепло и славно.

Ильина не любила вспоминать о «Возвращении». А мне сейчас просто стыдно перечитывать те рецензии (первая называлась «Без родины», вторая не менее оригинально — «Вдали от родины»). Больно уж просоветскими и урапатриотическими были они, и роман, и рецензии. Одно оправдание — обе были искренни в своих заблуждениях. Хотя между первой и второй книгой романа многое изменилось в жизни и многое было переосмыслено. Может быть, поэтому так долго и неохотно дописывала Н. И. вторую книгу, что все труднее и труднее было ей придержи-

ваться взятой тональности. Роман писался далеко уже не по «свежим следам», в другое время и с другим настроением.

Конец семидесятых — восьмидесятые годы — очень продуктивное, творчески богатое время для Ильиной. Один за другим появлялись ее мемуарные очерки, большие литературные и маленькие бытовые фельетоны, вышло первое издание книги «Дороги и судьбы». Выражаясь высокопарно, на литературный горизонт взошла новая яркая звезда. Появляется у Н. И. все больше и больше читателей и среди них — ярых поклонников. Выковался и окреп своеобразный ильинский стиль: классически строгий язык; обязательное привнесение в «воспоминательный» жанр — на равных — собственной персоны, личного присутствия; особый юмор — отнюдь не словесный (она и здесь оставалась строгим блюстителем классического канона), юмор лукаво-наивный, будто человек впервые увидел что-то и сильно удивился (об этом хорошо написал Владимир Лакшин в предисловии к маленькой «огоньковской» книжке ее фельетонов).

Как хотелось все эти годы написать об этой новой, настоящей Ильиной, о той эволюции, огромной внутренней работе, которую она совершила. Представляется, что все эти годы, до самой смерти, Н. И. переписывала набело свое «Возвращение», переосмысливала прошлое и оспаривала свои прежние идеалы, чтобы прийти в конце концов к очень трезвому, мужественно-критическому восприятию настоящего. Каждое новое произведение Н. И. вызывало у меня желание откликнуться на него. Да вот не пришлось.

Попробую воскресить тогдашние впечатления от одной из самых любимых моих у Ильиной вещей — «Путешествия по Италии со старым другом» (не помню ни одного отклика в печати на эту небольшую повесть или, если хотите, путевые заметки). А между тем в «Путешествии...» отразились все характернейшие особенности писательского почерка Ильиной. Поразила, в первую голову, замечательно вылепленная фигура «старого друга» Вовы, Владимира Кандаурова. Нигде подобного, ни тогда, ни позже

не встречала (разве что в публицистике у А. И. Солженицына). Родившийся в России и ребенком вывезенный родителями во Францию, он всю жизнь прожил там (за исключением множества путешествий по всему миру, в том числе — командировки в Шанхай в 1942 году, где он познакомился и подружился с Ильиной). Сблизило и подружило их тогда восторженное отношение к Советской России, — отношение, которое он сохранил в полной нетронутости до седых волос (действие «Путешествия...» относится к 1979 году). Человек вполне обеспеченный, сделавший во Франции прекрасную карьеру (известный инженер-строитель), избалованный всеми благами цивилизации, он не устает поносить проклятое «общество потребления» и превозносить все происходившее в Советском Союзе (куда он изредка наведывался, останавливаясь обычно в московском «Берлине» или ленинградской «Астории»). Ничего, ровным счетом ничегошеньки не понимал в нашей жизни этот вроде бы неглупый, добрейшей души человек, преданный друг Н. И., щедро демонстрировавший ей италийские красоты. Можно себе представить, какие грозовые разряды возникали между этими противоположно заряженными полюсами и каким добродушным «розовым» идиотом (прости меня, Господи!) выглядел при этом ее старый друг. Это восхищало!

Восхищало умение Ильиной самыми простыми вроде бы средствами лепить разнообразнейшие человеческие характеры, и свой собственный не в последнюю очередь. Вот и в «Путешествии...» вторым полюсом притяжения была она сама, Наталия Иосифовна Ильина. Безжалостная (хотя, если можно так выразиться, «любовно безжалостная»), к своему старому другу, Н. И. не щадит и себя. Это общее свойство ее мемуарной прозы. Никогда не писалась она с придыханиями, с реверансами перед «портретируемыми», будь то даже такие дорогие ей люди, как Ахматова, Чуковский, собственный муж или родная мать.

В повести воспроизведена тончайше нюансированная гамма настроений, обуревавших нашу путешественницу по

Италии. По-моему, это один из самых удачных автопортретов Ильиной. Строптивая, невыдержанная, беспрестанно обижающая своего заботливого спутника, не прощающая ему ни одного «патриотического» высказывания, она сама во время этих торопливых странствий находилась в довольно-таки растрепанных чувствах. Пожалуй, ни у кого из русских писателей, — кроме Достоевского, отрывки из «Зимних заметок о летних впечатлениях» которого предваряют в качестве эпиграфов каждую главу «Путешествия...», я не встречала столь точного и скрупулезного описания противоречий, терзающих душу *туриста*, невольного поспешного путешественника «галопом по Европам». Здесь неуемное желание все «охватить», увидеть и запомнить, и глубокая растерянность из-за невозможности это сделать, и мгновенное восхищение чем-то выходящим из безграничного потока впечатлений, и страшная усталость и раздражение от того, что ты все время существуешь в огромной толпе суетящихся, толкающихся людей («...туристы, туристы, туристы...» — постоянный рефрен повести), и чувство вины перед прекрасной Италией и бесценными сокровищами ее искусства, потому что не сумела, не успела насладиться, «проникнуться» всем этим, потому что это вообще невозможно в спешке и суете туристского «наскока». В заметках Александра Архангельского «Из опыта плавающего и путешествующего» («Новый мир», 1996, № 11) утверждается парадоксальная мысль, что великие произведения искусства, такие, как Мона Лиза или Венера Милосская, умирают, буквально уже умерли, «обсиженные» туристскими массами; но, быть может, надеется автор, они и оживут когда-нибудь, если снова станет возможным неспешное индивидуальное общение с ними человека...

Но вернусь к нашим встречам с Н. И., которые участились в 80-е годы. Почти девять лет, до 1989 года включительно, мы проводили в благословенной Малеевке (Дом творчества писателей под Рузой) один-два летних месяца. Н. И., правда, иногда пропускала какое-нибудь

лето, проводя его за границей у родственников. Образовался некий триумвират — Наталия Иосифовна, Елена Сергеевна Грекова и я. В столовой мы обычно сидели за одним столиком, вместе появлялись на людях, постоянно забегали друг за другом, направляясь в кино или на прогулку. Со стороны это, наверное, выглядело комично — наши, к примеру, прогулки. Дело в том, что у всех троих очень больные ноги, и поэтому «выступали» мы медленно, степенно, — по бокам я и Елена Сергеевна, обе с палочками, посередке Н. И. в огромных разношенных шлепанцах (в каждом мною, самой «рукастой» из троих, были аккуратно прорезаны круглые дырочки, чтобы не так болели бедные Наташины косточки), причем один шлепанец был черный, меховой, второй ярко-красный, суконный. Первый подарила Наташе Лидия Корнеевна Чуковская, второй Елена Сергеевна... Кто-то из малеевских остроумцев назвал эти тапочки «литературными памятниками». Присаживались на скамейку подле круглой клумбы или возле «правления», и Н. И. заводила свои устные новеллы, иногда совсем «свежие», из малеевского обихода. Незадолго до этого она устроила громкий скандал по поводу отсутствия в наших сортирах туалетной бумаги. Обслуживающий персонал, трепетавший перед Н. И. и ее эмоциональными взрывами, преподнес ей большой крутобокий рулон, каковой Н. И., разумеется, гордо отвергла, заявив, что пока бумага не появится у всех, ей она тоже не нужна. Такой вот был всплеск гражданского чувства. Заглянув ненароком в столовую в тихое время между обедом и ужином, Н. И. застала там идиллическую картину: вокруг большого стола восседали подавальщицы и нянечки и, тихо напевая «Что стоишь качаясь...», раскатывали большие рулоны туалетной бумаги, превращая их в маленькие (из большого получалось 5—6 маленьких), чтобы на всех хватило... Не знаю, так ли было на самом деле и ту ли песню они пели, но Наташин рассказ очень нас потешил.

Наши посиделки обычно устраивались в моей комнате, с непременным приглашением гостей. Особенно торжест-

венно отмечался мой день рождения, приходившийся как раз на конец лета. Какие состязания в остроумии случались здесь! В один из последних праздников из города, как обычно, приехали мои дети, привезли вкусненького, поесть и выпить (традиционно — пирожки с малиной); за столом Н. И. и Зяма Паперный, перебивая друг друга, вспоминают совместные поездки в глубинку, на «встречи с читателями». А то затянет Паперный свою коронную песню «В сельском хозяйстве у нас большой подъем» на мотив похоронного марша Шопена... Н. И. любила и умела заразительно смеяться, хотя все же, мне кажется, предпочитала, чтобы смеялись над ее, а не над чужими остротами.

Частью малеевского ритуала было кино, вне зависимости от того, хорошее или плохое; в последнем случае можно было просто встать и уйти. В хорошую погоду между ужином и кино собирались на терраске первого этажа главного корпуса, где, сидя в изломанных шатких соломенных креслах, можно было поспорить о политике, послушать последний стихотворный экспромт Алика Когана или какую-нибудь славную байку Людмилы Петрушевской.

Но это все внешние, хотя и милые, приметы нашего малеевского быта. Суть же в том, что здесь много и хорошо работалось. И стиль, способ работы был у каждой свой, особый. Ильина и Грекова — трудно представить себе двух людей, столь отличных в приемах своего труда. Елена Сергеевна работала скрытно, вся внутри себя. Никого «внутрь» не пускала и никогда не рассказывала о том, что делает. И уж, разумеется, никогда не выносила на суд незавершенную работу. В общих разговорах обычно участвовала вяло, лишь иногда задавала неожиданные, не относящиеся к теме беседы вопросы. Но чувствовалось, что она очень внимательно слушает, и все, что ей может пригодиться, — яркую фразу, «словесную формулу», характерный оборот речи, любопытный эпизод, — все тщательно фиксирует в памяти, складывает в некую копилку. В разговоре со мной она могла вдруг сказать: «Подари мне этот эпизод», или: «Ты не возражаешь, если я поза-

имствую у тебя это выражение?». Как-то я вспомнила обмен репликами, который состоялся у моей больничной койки в ЦИТО (мне сделали тяжелейшую многочасовую операцию, и хирурги, видимо, полагали, что я мало чего соображаю после наркоза). Так вот один из них, старший, тот, что оперировал, спросил другого:

— Ты вчера был?

— Да.

— Ну и как?

— Прелэстно!

— Когда ты говоришь «прелэстно», значит тебе не нравится.

— Так ведь разлетится все к чертовой матери!

Этот диалог так понравился Елене Сергеевне, что она почти дословно вставила его в свою повесть «Перелом» (самое горькое здесь, кстати, то, что в жизни, как и в повести, пророчество хирурга полностью оправдалось).

Так вот, если Грекову с полным правом можно отнести к писателям «молчащим и слушающим», то Ильина, бесспорно, принадлежит к категории «говорящих». Ей просто необходимо было сначала проговорить то, что она собиралась написать или уже написала. Причем проговорить не один раз и с самыми разными слушателями (но, конечно, дружески расположенными к ней). Знаю, что рассказывалось и читалось это не только нам с Еленой Сергеевной, но и Верейским, Карякиным, Федоровым, Лакшиным, Шмелевым, любимой редакторше и другу Рите Тимофеевой и, наверное, еще многим, мне не знакомым. Это была настоятельная потребность поделиться задуманным и выслушать ваше мнение. И, как правило, что у других бывает крайне редко, *учесть* высказанное вами. Так было и в Малеевке, и потом, когда мы уже в Малеевку не ездили.

Обычно Н. И. по пути от «Аэропорта» забирала в машину Елену Сергеевну и через весь город ехала ко мне на Юго-Запад, чтобы прочитать «новенькое». Так мы с Еленой Сергеевной прослушали и обсудили почти все главные вещи Ильиной. Замечания записывали по ходу

слушания на бумажках, существенные и совсем мелкие, по отдельным словам. Очень тревожила Н. И., в частности, композиция, построение большой вещи трудно давалось ей, и я не знаю другого человека, который с такой благодарностью принимал бы советы и так охотно следовал им. Не помню ни одного спора или упрямого отстаивания именно «своего» слова.

Когда Елена Сергеевна по нездоровью уже не могла принимать участия в наших «чтениях и прениях», я приглашала мою приятельницу Ларису Лебедеву, она охотно включалась в этот увлекательный процесс, и к ее замечаниям тоже благодарно прислушивались. В таком составе мы обсудили статью об Агате Кристи и советском детективе, а в другой раз — главы воспоминаний Н. И. о пребывании в Америке, где она читала студентам лекции о нашей литературе и нашей жизни. Это была интересно задуманная работа — путешествие по собственной жизни «задом наперед», из «заграницы» в «заграницу», но уже совсем другим человеком и совсем в другое время. Больно сознавать, что замечательная эта работа никогда не будет завершена.

Кстати, если уж я не удержалась и похвасталась «вкладом» в творчество Грековой, не откажу себе в удовольствии признаться, что в статье об Агате Кристи (в журнале «Иностранная литература») мне принадлежит пассаж, посвященный мисс Марпл. Во время обсуждения я заметила, что ей совсем не уделяется внимание, и Н. И. предложила мне самой написать об этой милой старушке. Второе мое предложение было отвергнуто: мне казалось уместным назвать (не без иронии, конечно) Холмса, Пуаро и Мегрэ в некотором роде «вечными образами», на манер Гамлета или Дон Кихота. Но Н. И. это показалось уже «слишком». Второй эпизод связан со злым фельетоном Н. И., посвященным «новым» школьным учебникам по литературе. Н. И. позвонила мне и сказала, что Лидия Корнеевна придумала хорошее заглавие — «Плоды просвещения». И тут меня осенило: «Плоды просвещения, или Власть

тьмы», — радостно завопила я в трубку. Под такой шапкой фельетон и появился.

Хочется напоследок порассуждать о характере моей покойной приятельницы, каким он мне представляется. Надеюсь, она простила бы мне и несколько вольный стиль и то, что я напишу ниже. Любому критику хочется хоть немного приблизиться к манере писателя, о котором он пишет, стать хоть чуток «конгениальным» ему. Каждый из нас, наверное, не раз задавал себе вопрос: «Что во мне от мамы, а что от папы?». А если под этим углом зрения рассмотреть характер самой Ильиной? В последние годы она так много и так хорошо написала о своих родителях, что мы можем свободно судить о них как о живых, знакомых нам людях.

Так вот, что в Ильиной, в ее непростом, цельном и одновременно очень противоречивом характере шло «от папы», Иосифа Сергеевича? Думаю, что в первую голову, — ее вспыльчивость, «взрывчатость», резкость, раздражительность, неумение себя сдерживать. Затем — «гонористость», память о своем дворянском происхождении. Но «от папы» («военная косточка», «отличный наездник, отличный стрелок»), шла, пожалуй, и та отвага, смелость, которая проявлялась, особенно в последние годы, в ее гражданской позиции, а также бесстрашие, с которым она гоняла по нашим гиблым дорогам свою машину (сохраняя, однако, где надо, и разумную осторожность). Судя по фотографиям, и внешне Н. И. очень походила на отца.

А что «от мамы», Екатерины Дмитриевны? Наверное, доброта и отзывчивость, расположенность к людям и умение привлекать их к себе, потомственная интеллигентность, любовь к классической литературе и музыке и, конечно же, невероятное трудолюбие.

Ну а талант от кого? Талант, как известно, от Бога.

На этом и кончу.

Маргарита Тимофеева

ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО В ПЕРЕДЕЛКИНЕ

Среди бумаг Екатерины Дмитриевны Воейковой сохранились давние записи: молодая мама вела дневник, наблюдая, как растет ее первенец. Маленькая Наташа быстро научилась ходить, еще быстрее — строптиво сучить ножкой и падать на пол, если ее заставляли делать то, чего ей делать не хотелось. Со всей фамильной прямотой мама пишет: «Может быть очень неприятной». Эта фраза особенно смешила Наталию Иосифовну: «Смотри, как рано у меня проявился характер».

Два лета, девяносто первого и девяносто третьего года, Наталия Ильина провела в Переделкине. Сначала в старом доме, на втором этаже, тогда это было ей еще по силам. «Уютненько. В стиле позднего кагебе», — отзывалась об интерьере. Мы помогли обустроиться в первые дни (еще цитата из Ильиной: «Рахиль, ты мне дана небесным Провиденьем», — знакомая многим формула благодарности, унаследованная от Реформатского). Без каждодневной помощи по мелочам Н. И. уже было трудно обходиться, и она попросила позвать дежурную по этажу, тихую женщину в синем халате, из местных, переделкинских.

Та отреагировала неожиданно: «Не пойду!». «Но почему, Мария Ивановна?». «Озорная больно! То ей таракан пробежал, то в ванну не пускает!». Накануне у них был конфликт: Н. И. брала душ (ванная «для дам» одна на весь этаж), а Мария Ивановна в законном праве дергала ручку, настаивая допустить ее к казенному белью. И опять Н. И. осталась довольна: «Озорная? это правда!».

Потом они подружились, Мария Ивановна пришла провожать: «Приезжайте еще».

И Наталия Иосифовна приехала еще. Это было ее последнее лето. Утром работала («Вижу, что не получается, но мне важно, что работаю»). Пыталась гулять. Мешала одышка. Говорила: «Пойду посижу на лавочке, где умерла Надя Жаркова». И еще говорила: «Знаешь, почему мне особенно нравится Липкин? (Они с Семеном Израилевичем обедали за одним столом.) Еще и потому, что он здесь единственный, кто старше меня». Готовилась к разговору, приберегала тему, цитату из только что прочитанного.

Путь от старого корпуса к новому был для нее долог, опиралась на палку. «Давай постоим». Остановится, — тут же подтягиваются Сарнов, Борин, Лиходеев, Рощин, оживление, хохот.

Вечером — визиты. Н. И. знала роскошь общения. Приходила «мой друг Елена Сергеевна». И. Грековой в Переделкине было не очень по душе, в Малеевке лучше, настаивала она. Или молодые американки, обе они почему-то «стояли» в то лето в Доме творчества, и Н. И. быстро нашла с ними общий язык. С Ларисой Беспаловой говорила о тонкостях перевода, с Чухонцевым о поэтах-эмигрантах. Чай, вкусное печенье; коньячок кое от кого припрятывали. «Мой друг Боря Можаев» замечательно читал Арсения Несмелова, смешил американок частушками, Шайтанов переводил. Приходил «мой друг Юра Карякин», сидел на диване, дожидаясь, пока кончится «Санта-Барбара»; потом, до позднего вечера, разговаривали (слушали) о Достоевском.

Больше всего в отношениях с людьми Наталия Иосифовна ценила прямоту. «Говорить правду легко и приятно» — одна из ее любимых цитат. Ильину караулили на дорожках, несли рукописи. Есть много способов уклониться от чтения или оценки. Н. И. никогда не делала из этого проблему. Легко управлялась и с малознакомыми людьми и особенно с близкими. «Я тебя люблю, — обезоруживала, — но читать не буду. Мне через это не про-

драться». Но если уж читала, если задевало — обязательно звонила и писала (есть замечательные письма к Лидии Гинзбург[1], и не только к ней), звала к себе — так в последние годы было с М. Кураевым, Л. Баткиным и многими, многими.

Человеческое обаяние Наталии Ильиной вступало в соперничество с героями ее сочинений. После «Дорог и судеб» читатели атаковали ее любовью, исповедями, алмаатинскими яблоками, просьбами о книгах и предложениями помощи («Звонил читатель Герман Юрьевич Орлов: если купить картошки или вбить гвоздь, почту за честь», — записывает Н. И. в настольном календаре. «Еще один поклонник. Смысл тот же: если кому надо набить морду — зовите»). Еще не распечатав письмо, Н. И. по конверту безошибочно определяла, что за человек ей пишет. Она собиралась написать главу «Мои читатели» и относилась к этому очень серьезно: раскладывала письма по большим конвертам, на каждом — пометы: «хор.», «оч. хор.», «позвонить» и др. Среди тех, кто писал ей, были люди чуткие, тонкие, близкие по духу, замечательные собеседники, она особенно нуждалась в таких откликах, благодарно отзывалась на понимание. Были, конечно, и другие читатели, доводившие ее до бешенства бесцеремонными претензиями на взаимность. «Обхамить можно и любовью», — говорила Н. И. Ругани в письмах почти не было, разве что, когда в «Октябре» вышел очерк об Александре Александровиче, одна блюстительница нравов прямо на конверте написала: «Ильиной, разбившей семью Реформатского».

Когда Н. И. в конце 70-х предложила «Октябрю» главы семейной хроники, единодушия в редакции не было. «Скучно. Бабушка, дядюшка-климатолог — кому это интересно?» — сказал зав. отделом критики. «Проверил на

---

[1] Зеленое окно за письменным столом: Лидия Гинзбург и Наталия Ильина — переписка / Публикация Вероники Жобер; Предисловие М. Тимофеевой // Знамя. 2000. № 3.

жене, — сказал зам. главного редактора. — Интеллигентным людям это интересно». История дворянской семьи Воейковых давала Наталии Ильиной возможность говорить о том, что было для нее самым важным, — о русской интеллигенции и русской культуре. Сама интонация ее прозы возвращала читателям забытое чувство нормы, вкус и слух. Все, что она писала, напоминало о том, что существуют ценности, от которых нельзя отрекаться: достоинство, внутренняя свобода, естественность и здравый смысл.

Наталия Иосифовна сердилась, когда ее спрашивали, зачем она вернулась и почему теперь не уезжает, хотя бы в Париж, где у нее родные. «Неужели непонятно, здесь я дома. Здесь я поставлю в книжке многоточие, и на него откликаются из самых дальних углов. А там что?»

Многоточия Ильина ненавидела и с наслаждением в последнем издании восстанавливала все, что в свое время уступила редакторам, или внутреннему редактору, сообразуясь с ощущением реальности. Заместителем Ананьева в «Октябре» был Владимир Николаевич Жуков, они очень друг другу симпатизировали. Он бы и рад напечатать все без единой помарки, но служба... Н. И. позволила изменить одно из названий (вместо «Уроки географии» — «Дом на берегу океана»). Но когда Жуков попросил о малости: во фразе о Льве Гумилеве «он был *уже* чисто выбрит» выбросить это неосторожное «уже», чтобы не акцентировать внимание на том, *откуда* Гумилев вернулся, — отказала наотрез.

С редакторами в ту пору было принято дружить. От книги до книги, от публикации до публикации. Дружба плавно сходила на нет после того, как книга вышла. У Наталии Иосифовны отношения с редакторами складывались (или не складывались) безоговорочно и навсегда. «Мой друг Коля Сарафанников» (в «Советском писателе» в 1980 году вышла книга Н. Ильиной «Судьбы») потом уехал, но многие годы писал ей проникновенные письма из Парижа, когда были деньги на почтовые расходы.

Н. И. умела держать дистанцию. К редакторам была доброжелательна, снисходительна. Точна, безупречна в сроках. Не прощала равнодушия, «изподтишочничества», — если за спиной без ее ведома пытались что-то изменить в рукописи. Злилась, когда держала корректуру: «Что они делают! У меня — «*терпеть* не могу!», а они — «*теперь* не могу». Отдавала верстку лингвистам на контроль. Но и с ними не всегда соглашалась. Она удивительно точно умела перенести свою устную интонацию в свои книги, обходясь одними запятыми, без всяких подпорок — иронических кавычек, многозначительного курсива, «горьковских» тире и восклицательных знаков.

Для меня знакомство с Наталией Иосифовной было школой, и начинать пришлось с первого класса. Училась всему и прежде всего самому главному. Первые уроки были незаметными (об этом многие вспоминают): «Что вы читаете?». Прочти это. И вот это. У нее были любимые «флаг-фразы», во многом определявшие ее отношение к профессии и к выбору друзей. Иногда жесткие: «На арабском скакуне воду не возят», «Опереться можно только на то, что оказывает сопротивление», «Обидчивость — привилегия горничных». Но чаще — обиходно-иронические, обращенные к себе: «не образумлюсь, виноват», «лобзания и слезы», «тупеет разум, Таня, а то, бывало, я востра» и т. д.

Она могла быть злой — если сталкивалась с непрофессионализмом, сервильностью, пошлостью, неуважением к языку, литературным «выпендрежем». Н. И. любила, когда ее хвалили. Похвалы записывала на листках перекидного календаря («Володя Усп.: как собака находит травку, так и он — когда в раздрае — мной витаминизируется»; «Реформатские чтения. Вечером позвонил милый Н. И.: „Вы сидели так, как сидели мои тетушки. Теперь уж никто так не сидит“»; «Евт. о *Привидении*...[1] — удар ножом из харбинского переулка»). Нелестные отзывы тоже запи-

[1] *Н. Ильина.* Привидение, которое возвращается // Огонек. 1988. № 42.

сывала. Н. И. знала свои слабости: «Напечатала в „Огоньке“ новые вставки в главу об Ахматовой, что не вызвало одобрения Эммы Герштейн и Лиды Чуковской. Это не новое об Ахматовой, а новое об Ильиной, — сурово сказала бескомпромиссная Лида. Наверное, они правы. Опять бес тщеславия попутал».

Она была свободна от комплексов и жила в ладу с совестью. Грех уныния, казалось, был ей неведом. В доме Наталии Иосифовны человек выздоравливал. Придешь вечером из «Октября» обугленной головешкой: роман А. Чаковского, пьеса А. Софронова, очередной разнос главного редактора (Ананьев был крут, но отходчив): за Маканина — «так прозу не пишут!», и даже за Проханова: зачем у него в «Кабуле» лирические отступления с крестами, куполами и бабушкиной синей чашкой?.. Сядешь напротив Н. И. в кресло «прекрасной мебельщицы», и, слово за слово, короста отваливается, все становится на свои места. Уходишь умытая, распирает веселая энергия, нравятся люди в метро, снежок, жаль, что дома все уже спят...

Рядом с Наталией Ильиной легко дышалось. Иногда она бывала в дурном расположении, сердилась по пустякам, но даже это в ней было мило. Не желчь, не претензия, не обида — просто не с той ноги встала. Завтрак в Малеевке. За столом — мрачная Н. И. с термосом, Грекова, Питляр. Елена Сергеевна полуспросонок смотрит в тарелку, Ирина Александровна звонким утренним голосом наводит мосты: «Товарищи, где у нас солонка?». Наталия Иосифовна: «Каких товарищей, хотела бы я знать, вы обнаружили за этим столом?». Питляр: «А как? сударыни? женщины? дамы?». Тут проснулась Елена Сергеевна: «Когда я работала над „Дамским мастером“, мне рассказывали, что в „салоне“ висели правила, и там был пункт: мастер имеет право отказаться обслуживать вшивую даму». Н. И. расхохоталась. День начинался славно.

Она любила подтрунивать над теми, кто не был ей неприятен. В последние годы, уже в пору «Нового мира» мы с Вадимом Борисовым часто навещали ее. Н. И. нрави-

лось, что Дима, человек другого поколения, знает то же, что знает она, понимает с полуслова, подхватывает стихи, угадывает скрытые цитаты не только в том, что говорят, но в самом стиле общения (за это она любила и Татьяну Толстую). Борисову нравилась Наталия Иосифовна, нравились экспромты Реформатского, которые она к слову вспоминала: «Есть, тесть, вино? — Ес-тест-венно!». Так часто бывает: когда втроем хорошо, надо, — чтобы было еще лучше, — над кем-то из трех подтрунивать, дразниться. «Высказалась?» — говорила Н. И., если мое замечание оказывалось недостаточно тонким. Или: «Что с нее взять?». Мне моя роль нравилась, я подыгрывала, расставаться не хотелось. Но надо уходить, и Н. И. облегчает жизнь себе и гостям: у вас еще пятнадцать минут, а я пока примирюсь с мыслью... Перечитывая Чуковскую, видишь, как много Н. И. взяла на вооружение.

В последние годы Ильина работала над книгой «Второе возвращение». Хотелось ответить тем, кто спрашивал, зачем она вернулась и почему не уезжает. Чувствовала на себе тыкающий палец, мучалась, судила себя за то, что приехала «пламенной комсомолкой», «приверженцем социализма», как наш Михаил Сергеевич. Упорства Н. И. не занимать. Вздыбила весь свой архив, подняла старые статьи, письма к маме, перечитала свою первую шанхайскую книжку[1]. Хотела быть предельно точной и честной. Всех Роменов Ролланов и Андре Жидов перелопатила, пытаясь понять, кто во что верил, кто был ангажирован, а кто нет. Делала выписки из Симонова, Наума Коржавина, Элен Каррер д'Анкосс (была с ней знакома, встречалась в Париже и в Москве)... Штудировала, конспектировала, переписывала рукопись снова и снова — и наконец сложила все в папку и завязала тесемки. Устала. Сколько можно себя истязать? И согласилась с теми, кто говорил, что «Дороги и судьбы» — это и есть «второе возвраще-

---

[1] *Н. Ильина.* Иными глазами: Очерки шанхайской жизни. Шанхай: «Эпоха», 1946.

ние». Отдала одну из глав — «Тихий океан» — в «Вопросы литературы». Но осадок остался. Наталия Иосифовна не привыкла, чтобы у нее не получалось. Что-то ее тревожило, что-то важное — для себя и для всех нас — пыталась и не сумела, не успела сказать напоследок.

Три России едино и неделимо жили в ней, были с нею: та, «которую мы потеряли» (а она — нет); та, в которую она вернулась и где прожила вместе с нами почти полвека; и эта новая, которая так празднично, так ослепительно началась и опять корежится в родовых муках.

Болезнь не застала Н. И. врасплох. За деревянными створками шкафов и антресолей — синие, зеленые, красные неказистые (других тогда не было), но крепкие папки с тесемками. На каждой наклейка с надписью. Н. И. не допускала беспорядка ни в душе, ни в доме, ни в литературных своих занятиях.

В одной из папок — многократно переписанные наброски, конспекты, планы «Второго возвращения».

«Россия — и СССР.

Отчизна — и режим, система.

Культура — и политика, идеология».

Если бы Наталия Ильина могла прочитать последние книги Лидии Корнеевны Чуковской, ее переписку, она бы непременно многое выписала для себя. Например, из письма к Маргарите Алигер: «Бывают счета неоплатные ⟨...⟩ и уж лучше бы, вспоминая о прошедшем, не браться за счеты... Оплатить *такой* счет — это вообще никому не под силу по той простой причине, что человечество не научилось воскрешать мертвых ⟨...⟩ Я не предлагаю зуб за зуб, месть не прельщает меня... Не перечеркнуть надо счет, поставив на нем успокоительный штемпель „уплачено“, а распутать клубок причин и следствий ⟨...⟩ надо бередить память, а вместе с нею совесть и мысль»[1].

Наталия Иосифовна снова вернулась к бабушкиным письмам. Уроки Ольги Александровны продолжались.

---

[1] Корней Чуковский — Лидия Чуковская: Переписка: 1912—1969. М.: НЛО, 2003. С. 483—484.

«Последнее время часто вспоминаю бабушку. Ее драгоценные письма. Ее старость пришлась на начало этой системы, моя — на конец. Те из нас, кто дожил до преклонных лет, стали счастливыми свидетелями того, как он, этот режим, рухнул...»

«Бабушка. Культура общения — раздражаться неприлично. Стоицизм. *Честь* в письмах бабушки».

«Бабушка с ее абсолютной генетикой знала, что все пройдет, минует. Работать. М. б. для концовки: крест на нас возложен». Следом — цитата: «...это удивительное свойство человека — восстанавливать вопреки всему свою духовную целостность...» (Б. Кочубей).

«Из хамского строя — к человеческому. Не просто! Выдирали культуру 70 лет. Выдираем остатки». И наблюдение над новейшей историей: «Вчерашнее хамство государства воспроизводится под новыми лозунгами».

Просоветский, советский, постсоветский синдромы... Сегодня сказали бы, что Наталия Ильина пыталась напоследок разобраться в сталинской цивилизации, во всех ее механизмах и метастазах, в напластованиях советского социокультурного гумуса (контекста) или что-нибудь в этом роде. Наталия Иосифовна таких слов не употребляла, у нее даже на «архитектонику» была аллергия.

Ей нравилось слово «литератор», и она предпочитала говорить на том языке, которому ее научили родители. В двух главных книгах Н. Ильиной, «Дороги и судьбы» и «Белогорская крепость», — соотнесены масштабы, контексты и подтексты, пространство культуры и «напластования» советского бескультурья. Она умела отличить здоровье от нездоровья. Видела, как в этом гумусе барахтается оторванный от корней человек, и душа у нее болела.

Еще одна, самая последняя неразобранная папка. Сюда Н. И. складывала записанные на случайных листках «наброски, мыслишки», мгновенные зарисовки с натуры, реплики, жесты и пассажи из числа ненавистных ей советизмов. Свою зощенковско-платоновскую коллекцию «бабуш-

ка советского фельетона» Наталия Ильина собирала без малого сорок лет.

«Зощенко зафиксировал уродство души в языке. Зарубки, болезни времени — жизнь языка параллельна истории. Бестолковое мышление. Скудоумие. Разруха в головах. „Достоинство советского человека“. *Тоталитарная задушевность* (Юра Айхенвальд)», — записывала Н. И., готовясь к телевизионной беседе с Борисом Ноткиным (злилась на него — хотела говорить о языке, о культуре, а он зациклился на дворянстве).

У Ильиной был абсолютный слух на живую речь со всеми синдромами, которые она фиксирует. Начиная с «Шанхайского базара» («Вместо как поживаете — что едите и чем моетесь») и до последних дней («посоветоваться перед народом» — из выступления депутата; «клево, ну просто концептуально!» — поклонники о поп-звезде) Н. И. ловила на слух, неустанно летописала, хронометрировала, бытописала и обыгрывала живую жизнь, — с упрямым азартом человека, убежденного, что есть вещи, к которым *нельзя привыкать*, которые не должны становиться нормой (тут у нее с лингвистами случались разногласия).

...Казанская консерватория, урок политграмоты. Секретарь парткома, «не желая ничьей крови, путаясь в словах, коряво и неумело объяснял, какую музыку надо писать, чтобы она была связана с марксизмом-ленинизмом». ...Библиотека, выступление представительницы министерства культуры: «Во всяком случае, в ихний адрес поступило много теплых приветствий». Оттепель. «Наша Ольга Семеновна (работница): у нас тогда культ личности был, понимаете? Что Сталину ни наговорят, он всему верил». Жена шведа-коммуниста в московской парикмахерской: «Цели у них какие? Свергнуть власть капитала. Но другими путями, чем мы. Понимаете? Это я с ними согласна». Звонок из ВОАП: «...она, оказывается, живая! А я при чем? Вы у нас в картотеке покойников!». Вова Кандауров, выходя из «Националя»: «Прекрасный обед.

А вы всегда ругаете эту страну». Мама водителя Сережи из Снегирей: «Что же наши вожди-то, не видят, что поля неубраны стоят?». Председательница Литфонда: «Тридцать вдов в аварийном состоянии!». Разговор писательских жен: «Ваш тоже пишет классику или так?». Звонки от читательниц-ветеранок: «„Сокольники" приветствуют! Ну как, ползаем? Я в сорок третьем в пехоте была. Эх, жаль, далеко живем, а то мы тут с бабами собрались, все вас любят, мензурку бы раздавили. Вашу писанину в веках не забудут». «Явление Марка Марковича. Об Ахматовой: если бы не товарищ Жданов, ее бы вообще никто не знал. О Реформатском: я его видел, был у вас лет двадцать назад, такой завалящий, а оказалось, профессор». Чей-то муж: «Вряд ли вы, русская дворянка, любите евреев». «Для нормального протекания жизненных процессов необходимо регулярное поступление питательных веществ в организм кролика» (из беседы ветеринара). Сережина мама: «Я мужу говорю, напиши куда следует, вожди не в курсе...»[1].

Советизмы-абсурдизмы, легенды и мифы Белогорской крепости.

Многое из того, что Н. И. наспех записывала и складывала в папку, потом отзывалось в ее книгах и статьях, но сначала было «озвучено» друзьям или друзьями, среди других тем и сюжетов, на Наташиной кухне. Тут все, от житейской малости до проблем большой политики, естественно сопрягалось и встраивалось в общую систему координат. Это не кухня была, а лаборатория, тренинг, «проверка слуха», взаимная энергетическая подзарядка.

Наталия Иосифовна не вела дневников, не оставила записных книжек. Но каждый вечер бисерным почерком делала пометы в маленьком настольном календаре: что случилось за день, кто был, звонил, кому звонила сама. А

[1] См.: *Наталия Ильина*. Из последней папки: Записи разных лет (1957—1993) / Публикация Вероники Жобер; Предисловие М. Тимофеевой // Октябрь. 2000. № 3.

в конце года не ленилась переписать главное на машинке. И так много лет подряд (почти сорок!). Вот откуда феноменальная точность ее дат — она всегда могла освежить память, заглянув в свои записи. Это внимание, уважение к впечатлениям каждого дня тоже было частью ее культуры.

1993 год. Наталия Иосифовна уже больна. Из дому выбирается редко. Связь с миром — телефон, друзья, ТВ. На листках календаря — расходы, рецепты, жалобы на недомогание... Но не только это. За каждой короткой записью — устная новелла, острая, уморительно смешная или горькая. В каждой оценке — молодой напор, темперамент.

«По питерской программе — интервью с Еленой Образцовой. Она — о любви, о церкви, молится о врагах (!), а муж — тот самый Жюрайтис!

Плакала: Юра, cousin, перед смертью заговорил по-французски.

Ноткин. Все мной приготовленное якобы хвалит, но... Устала как пес.

Ездила на Беговую за лек-вом для Люси.

ТВ. Кошмар съезда.

Бываю резка: вы — „думаете", а я — *знаю* и т. д.

Оч. хор. вечер. Говорили с Н. П. об экономике. Абсурд? Нет, логика — старуха с флоксами, а за ней два милиционера.

Мужики весь день оббивали балкон. Течет.

Пришла Р. в сливочном пиджаке, с добром и цветами. Как всегда вкусно с ней ели. (*На других страницах*: Гуля и Мари-Франс с чемоданом, Ируся с мешком, Леня с новым холодильником. И несут, несут прохожие...)

К маме на кладбище. Обратно — хор. дорога.

У М. — другое чувство юмора.

Драма с сортиром. Жду слесарей.

Вечер Мравинского на ТВ.

Витя — блестяще — докторскую!

Горько, что обидела Гулю. Пишу письмо.

Alex Dunkel! Вспомнили Аризону.

Вероника и Коля. Альбомы с семейными фотографиями.

Умер Володя Лакшин. Письмо Светлане. Сама отнесла на седьмой этаж.

Огнев о Пастернаке — мелко, поверху. „*Не переживайте*, — сказал Пастернак".

Оч. хор. вечер! Водка, виски и сосиски. Все любят друг друга. И кто на палубе крутой не падал... (Есенин)

Читаю Аксенова. Достоевского о слезе ребенка цитирует как попало!

Си-эн-эн. Впервые видела, как стреляют танки.

В полночь со 2 на 3 скончался Орик.

Ночью упала. Бок».

Потом была больница. Но и там в случайной детской тетрадке (на обложке — одуванчик и божья коровка) Наталия Иосифовна продолжает записывать: «Вт. 20 — Илона. Среда 22 — Леня...» Таня Бек, Юра, Люся, Тася Елизаренкова... Всех перечисляет, кто приходил прощаться, еще не зная об этом. Наталия Иосифовна не собиралась умирать. Принеси сантиметр, попросила за неделю до смерти, надо измерить талию, попрошу Гулю привезти новые брюки. «Вт. 28 — никого, — последние записи. — Среда. Дима принес елку. Воскр. — Маруся (мылись). Понед. — Люда, розы, книги. Вт. — письма...»

Как вас много в моей жизни, говорила Наталия Иосифовна, поменяв в Новый год свой перекидной календарь и перелистывая старые записи. И каждый, кто помнит и любит Наталию Ильину и ее книги, возвращает эти слова: *как вас много в моей жизни*.

Л. Лазарев

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Познакомился я с Наталией Иосифовной Ильиной в редакции то ли «Литературки», то ли «Вопросов литературы» — точно уже не помню. Но хорошо помню, что уже было прочитано ее «Возвращение» — с любопытством (эмигрантская жизнь, которая почему-то была нам очень интересна, но совершенно неведома), а «новомирские» фельетоны — с восхищением почти мальчишеским: «Вот дает!». Сразу же выяснилось, что и в жизни она резко правдива — без малейшей дипломатии, все договаривает до конца, все называет своими именами, — и остра на язык, убийственно иронична. Разговоры с ней даже в невеселые времена, — а длились эти времена десятилетиями, — взбадривали, не давали впадать в уныние, опускать руки.

Отношения у нас были чисто редакционные, я никогда не переступал порога ее дома, время от времени звонил, уговаривал что-нибудь написать. Иногда это, к нашей радости, удавалось, и очередной литературный король представал перед читателями без одежды. Наталия Иосифовна смеялась: «Зачем вам это? Придется же расхлебывать...».

Я всегда очень высоко ценил и безупречный вкус, и дерзкую отвагу Ильиной. Но в последнее время, читая ее мемуарные очерки (самый последний напечатан у нас в «Вопросах литературы» уже после ее смерти, фамилия — в траурной рамке), я понял, что она обладала самым высшим — очень редким — мужеством: без всякого снисхождения судить себя, свое прошлое. Как часто в мемуарах — тому великое множество современных примеров — стараются себя обелить, оправдать, в лучшем виде пред-

ставить свое прошлое, так или иначе приспособить его к нынешнему дню, примирить себя с ним, вольно или невольно угождая сегодняшним взглядам и вкусам — своим и чужим. Ильина же с беспощадной правдивостью рассказывает о том, что возвращалась из эмиграции пламенной сторонницей советского строя, мало что понимала в нашей жизни, была гораздо больше заморочена, чем мы, жившие здесь. Рассказывает, как началось прозрение, не скрывает, что оно давалось ей не легко и не просто. Нравственный суд над собой, над своим прошлым — может быть, самое трудное и самое благородное, на что способен человек. Мало кому он по силам — Ильина сумела. Ее замечательная ирония обращена на себя, себя она прежде всего не щадит.

Последний разговор с Наталией Иосифовной я запомнил навсегда. Она позвонила мне в воскресенье вечером, в понедельник ложилась в больницу, из которой ей уже не суждено было выйти. Позвонила, чтобы поговорить о волновавшей ее статье в «Литературке», которая совпадала с тем, что думала она. Речь шла о том, что многие литераторы, угнетенные нынешними невзгодами, тем, что материально им живется хуже, не хотят вспоминать о мраке советского прошлого, не хотят видеть, не ценят того, что принесло новое время, — выяснилось, что сытость для них важнее всего. «Не могу их видеть, перестала выходить во двор, когда они там гуляют, — сказала со свойственной ей бескомпромиссностью Наталия Иосифовна. — И мне сейчас нелегко, но я счастливый человек, потому что дожила до времени, когда могу говорить и писать все, что думаю, поняла, знаю. Без ретуши и многоточий рассказывать о своей жизни, своем опыте». Я спросил, как она себя чувствует. Она отмахнулась: «Какое это имеет значение. Я в больницу ненадолго...»

Владимир Лакшин

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИРОКЕЗ

Жанры нашей литературной критики скудны: в ней редки памфлет, ирония, сатира. А как владел когда-то этим искусством Щедрин в «Отечественных записках»!

Среди постного благонравия в критике эту традицию сохранила Наталия Ильина. Ее сотрудничество в 60-е годы с «Новым миром» Твардовского началось, сколько помню, с пародии на исследование, носившей длинное ироническое название: «К вопросу о традиции и новаторстве в жанре „Дамской повести"». Статья имела шумный успех и закрепила сотрудничество писательницы с журналом.

А. Т. Твардовский полагал, что при всем значении художественного раздела журнала, печатавшего романы, повести, стихи, общественную физиономию издания или его «направление», как говорили в старину, создают по преимуществу публицистика и критика. «Новому миру», его критическому разделу, Наталия Ильина пришлась, что называется, ко двору. Она никогда не писала не то что фанфарных, но даже сколько-нибудь положительных рецензий, безопасных и оттого желанных в «тылах» любого журнала. Слово «критика» воспринималось ею как-то свежо, наивно или слишком всерьез, в его начальном значении, противоположном апологетике. А это ведь редко бывает так.

Я знавал одну даму-критика, прожившую очень успешную жизнь в литературе, которая гордилась тем, что за все годы ни разу не написала ни одного отрицательного отзыва. Завидное в житейском, но не в литературном смысле свойство! Наталия Ильина, напротив, оживлялась



Наталия Ильина.
Дружеский шарж Ореста Верейского

и веселела, когда на алтарь литературы можно было возложить жертву — заклать фальшь, пошлость, дурной вкус или, по меньшей мере, худосочную бесцветность письма. Для этой небезопасной работы она обладала незаурядными достоинствами: образованностью, вкусом, легким пером и неженской отвагой.

Но, может быть, главная привлекательная черта ее фельетонов — особый род юмора, неожиданного, меткого и простодушного. Лишенная групповых пристрастий, она напоминает литературного ирокеза, невзначай оказавшегося на ковровой дорожке писательского департамента, нарушает чинность и как бы игнорирует официальные репутации, оставаясь на редкость беспечной по части последствий, какими чревато уязвленное авторское самолюбие. За это ценил Наталию Ильину Твардовский, не раз выражавший восхищение ее критической работой, а порой и подсказывавший ей темы для литературных фельетонов. Некоторые из них читатель найдет в этой книжке и легко убедится, как ко́лок, ироничен и неотразим этот род сочинений Наталии Ильиной, в котором и до сих пор у нее мало подражателей и, пожалуй, нет соперников.

Предисловие к книге Н. Ильиной
«Сказки брянского леса» //
Библиотека «Огонька». 1989

И. Грекова

СУДЬБЫ И ХАРАКТЕРЫ

В обычных мемуарах автор либо тактично самоустраняется, либо кичится близостью «великих» к нему. В книге «Судьбы» нет ни «великих», ни «малых», зато откровенно присутствует автор — живой, остроумный, жизнелюбивый. В автоироническом ключе написаны и совсем юная, долговязая девушка-подросток, влюбленная в стареющую актрису и тешащая себя иллюзией, что эта любовь взаимна; и повзрослевшая «завоевательница Шанхая», с трудом зарабатывающая на хлеб, но уже делающая первые шаги в репортерском, газетном деле; и совсем взрослая московская писательница, наконец-то приобретшая машину и не без труда осваивающая технику ее вождения. Этот самонаправленный юмор окрашивает все повествование, придавая ему особую теплоту.

Книга «Судьбы» открывает в творчестве писательницы новый этап, синтезирующий две до сих пор разобщенные стороны ее дарования: блистательный юмор и проникновенный лиризм, иногда поднимающийся до высот трагедии.

Книга написана острым и точным пером фельетониста, не терпящим длиннот и торможений, целеустремленно бегущим вперед. Пружинный, стремительный ритм пронизывает всю вещь, написанную в темпе «allegro» — весело.

Открывая книгу, сразу попадаешь под власть магии занимательного повествования. Н. Ильина чудесным образом оживляет все, к чему прикасается. В «Судьбах» интересно всё: и главные герои, и второстепенные, и эпизодические, и быт, и обстановка, и даже то, как расставлены вещи в комнате.

У входа в книгу стоят две фигуры: «Дядюшка профессор» и дядя Александр Дмитриевич, оба Воейковы, родичи автора, оба ученые, одержимые, бескорыстные, не от мира сего — из лучших представителей старинной русской интеллигенции.

Острыми, точными чертами обрисован характер Корнаковой — ее резкость, доброта, безалаберность, сумбурная речь и над всем этим — смертная тоска по родине. Со страниц книги глядит подвижное, изменчивое лицо актрисы, в котором повелительность соседствует с затравленностью. Поистине трагично описание гибели опустившейся, спившейся Корнаковой в чужом для нее Лондоне, без языка, без общества, без единого человека, со щемящим припевом: «День окончен, Балладина!».

Еще одна эмигрантская фигура встает со страниц книги во весь свой элегантный рост; это Александр Вертинский, талантливый актер и певец, создатель оригинального жанра, где высокое искусство стоит почти на грани пошлости, и все же... «Вертинский. похожий на огромную нахохлившуюся птицу, лениво тыкает вилкой в яичницу и читает мне стихи парижского эмигрантского поэта Георгия Иванова: „Так что же делать? В Петербург вернуться? Влюбиться? Или Опера́ взорвать? Иль просто лечь в холодную кровать, закрыть глаза и больше не проснуться?..“».

Превосходно написана глава об Анне Ахматовой, с которой Н. Ильина была близка в последние годы ее жизни. Ни намека на «хрестоматийный глянец» — величественная фигура поэта, нисколько не теряя в величии, предстает перед нами обаятельно заземленной, во всей пестроте будничных подробностей, от облезлого воротника шубы до матраса на кирпичах в комаровской «будке». Ильина подчеркивает «смесь изысканности и равнодушия ко всему материальному»; страстное, личное отношение к литературе («За такое на Сенной бьют батожьем!» — по поводу бездарного стихотворения); мудрость и великолепный юмор («Если вдуматься — одного чулка мало!»)... Болезни, невзгоды, наконец, смерть, мертвое лицо с выражением: «У меня только ТАК и бывает!».

В последней главе мы встречаем сложную, бесконечно обаятельную, но далеко не иконописную фигуру Корнея Ивановича Чуковского. Так и видишь его — подвижного, озорного, молодого и в самой старости, так и слышишь его «высокий и насмешливый» неповторимый голос. Улыбаешься, читая про его неизменную, не всегда искреннюю приветливость («надел масочку любезного весельчака»), про его обращение к полузнакомой женщине: «Душенька! Драгоценная!», а сразу после ее ухода: «Едва догадалась уйти! Два часа украла!»; про его способы хитроумно избавляться от непрошеных гостей... Все это не только не принижает образ любимого писателя, но делает его еще ближе, человечнее.

Интересен своеобразный стиль прозы Н. Ильиной — скупой, чеканный, чуждый всякого украшательства, склонный скорее «недожать», чем «пережать», полное отсутствие вычурных метафор, неизменное чувство меры. Например: «я становилась суетливо-говорливой, ибо ложь, как известно, многословна, а полуправда — тем более»; или: «...Чуковский, изображая нам все это, двигался, вертелся, склонялся, разгибался с резиновой гибкостью — это восьмидесятилетний?»; или (о Корнаковой): «Ей было дано, а она не тратила, и талант, не находящий выхода, душил ее и мучал»; или (о песнях Вертинского): «Очень нравится, а перед собой вроде бы неловко, что нравится». Нередко автор пишет совсем короткими, рублеными фразами, как бы бросает слова, разделяя их емкими паузами, например: «Ни дома, ни женской заботы. Ежевечерние выступления. Бессонные ночи. Романы. Курение. Алкоголь». Или: «Чуковский прекрасен. Общество его драгоценно. Но: необходима осторожность».

Книгу закрываешь с сожалением. Хочется еще и еще побыть с автором и его героями, больше узнать о них, не только о тех, которые находились в центре поля зрения, но и о тех, кто еле мелькнул у его края...

Из статьи о книге Н. Ильиной «Судьбы». М., 1980 //
Литературная газета. 1981. № 29. 15 июля.

Софья Гиацинтова

ОСТРЫЙ ВЗГЛЯД НАТАЛИИ ИЛЬИНОЙ

Известность и даже слава актеров драмы старшего поколения остается только в памяти их зрителей-сверстников. Ни кино, ни радио, ни телевидение не могло еще запечатлеть обаяние, своеобразие игры. Поэтому так нужны и дороги такие повести, как повесть Н. Ильиной об актрисе Екатерине Корнаковой. Страницы, ей посвященные, отражают личность, судьбу, процесс творчества, характер ее дарования и атмосферу, в которой она жила, мучимая невозможностью развивать свой дар. Он стал вместо счастья первых лет в театре — ее мукой...

Повесть о ней, пожалуй, нельзя назвать мемуарами — это, скорее, впечатления от талантливой натуры, которая требует возможности создавать и не находит для этого путей.

Корнакова была пленительной актрисой. Ее очарованье заключалось в полнейшей сценической свободе. Я впервые увидела ее во Второй студии Художественного театра. Шла премьера спектакля. Подростки сидели вместе и рассуждали о своих различных переживаниях и мыслях. Очень хорошенькая девочка, кругленькая, с детски сытым и аккуратным видом, сказала только одну фразу — о том, как она вышла на лестницу и как ей отчего-то стало грустно. И тут она заревела благим матом — неожиданно, коротко, с наслаждением. Ее детский рев выражал гордость — вот, мол, как я решаю мировые вопросы. Она была смешна, мила, удивительна. «Кто это?» «Как ее фамилия?» — слышалось в зале. Корнакова так и оставалась «неожиданной». Она делалась взрослее — красивая, жен-

ственная. У нее и красота была своеобразная. В те времена две девушки из Второй студии начали вырастать в актрис — А. Тарасова и Е. Корнакова. Корнакова не была так красива, как Алла Тарасова, поражавшая прекрасным лицом, всей своей фигурой — все в ней было как бы подготовлено для ролей героинь. Корнакова бывала вдруг некрасивой — бледной, вялой, и неожиданно она вся загоралась. Взгляд у нее был точно исподтишка — лукавый и обещающий. Нельзя было не заметить ее, хотя она держала себя скромно и даже тихо. На сцене — удивительная фантазия и вспышки озорства.

Она, видимо, долго хранила этот сценический жар. Ее мучили глубоко таящиеся творческие силы, уже никому на чужбине не нужные и поэтому превращавшие ее в больную и несчастную. Об этом пишет Н. Ильина. А я знала Корнакову другой — сияющей, живой, счастливой. С огромным успехом играла она в МХАТ 2-м роль Маруси в пьесе «Закат» Бабеля. «Образ, полный обаятельности, лукавства и женской грации», — пишет о ней Юрий Соболев. «Что-то светлое, радостное, прозрачное», — пишет О. Литовский.

Корнакова играла Катарину в «Укрощении строптивой». Б. Ромашов описывает свои впечатления словами: «девчонка, взбалмошная, вздорная. Это глубокий эксцентрический замысел. Ее диалог искрометен, ее ритмы спутаны, ее обаятельность чудесна». Мне кажется, что Павел Александрович Марков находит для нее наиболее меткое определение. Он пишет, что Корнакова создала образ капризной и удивленной женщины. Именно такой она явилась в комедии Алексея Николаевича Толстого «Любовь — книга золотая». Она играла княгиню — избалованную девочку, влюбленную и коварную вместе с тем. Она была и смешна и трогательна. (Пьесу ставила С. Г. Бирман — это ее первая режиссерская работа.)

Корнакова умела шалить на сцене. Она была неудержима. В комедии Гольдони «Бабьи сплетни» она играла одну из соседок-сплетниц. Ее соседка спорила, бранилась,

пришла в азарт... Корнакова на репетиции остановилась, затем лихо вскинула подол своей юбки на голову и так ушла за кулисы, продолжая доказывать свою правоту. Одна голова торчала из складок пышной юбки. И в восторге от собственной шалости она смеялась сама над собой.

Корнакова от природы имела ту свободу, которой учил нас Константин Сергеевич. Конечно, развивалась она в актрису благодаря нашим учителям. Но ее талант был и сам по себе какой-то свободный, вольный, озорной.

Станиславский очень любил ее. Удивителен бывал его взгляд на своих учеников, когда они репетировали на сцене. Полный ожидания, проникновения, незабываемый, блестящий взгляд Станиславского. Он точно ворожил твое сердце, волю, мозг. Он верил в Корнакову. Все помогало ей в начале ее карьеры: и ее умный друг — муж Борис Бринер, и вера в своих учителей и товарищей, и страстная ее привязанность к театру, да и репертуар давал ей возможность выразить ее индивидуальность. И вот отъезд... Порваны нити с родиной, с театром, со своей профессией...

Наталия Иосифовна Ильина рассказывает о трагедии невысказавшегося таланта, о сломанной судьбе актрисы, покинувшей Родину и очутившейся в чуждом ей буржуазном мире с его сытым благополучием и духовной нищетой.

У Корнаковой удача была короткой. Тем не менее ее обаятельно-женственный талант вписал свою страницу в историю театра. Он был ярок и своеобразен. Она была преданной ученицей Станиславского. Хорошо, что острый взгляд Н. Ильиной не прошел мимо ее трагической судьбы.

Из послесловия к публикации главы «Корнакова»
в журнале «Театр», 1975, № 4.

Андрей Турков

ЖИВАЯ ВОДА ПАМЯТИ

Легко себе представить читателя, который начнет книгу Н. Ильиной прямо с середины, тем более что издательская аннотация, если ее прочесть, к этому располагает, утверждая, что «особый интерес представляют страницы, рассказывающие о таких деятелях отечественной культуры, как Анна Ахматова, А. Н. Вертинский, К. И. Чуковский и другие»...

Похоже, что автор аннотации испытывал некоторую растерянность перед каким-то слишком вроде бы уж пестрым, произвольным выбором «портретируемых» лиц: среди них двое ученых, один из которых умер на чужбине, и занесенная в Китай «мировыми безумными сквозняками», как сказал однажды Чуковский, актриса Корнакова. Однако пестрота эта, в сущности, не менее естественна, чем соседство самых отличных друг от друга лиц на фотографиях, поныне заключаемых в одну рамку на стенах миллионов изб и вполне современных городских квартир. Рассматриваешь одного, другого, расспрашиваешь хозяев, кто родич, кто давний друг, и все эти отрывочные сведения, спрыснутые, как в сказках, живой водой неравнодушной, благодарной памяти, вдруг как бы намагничиваются, начинают тяготеть друг к другу, к твоему собственному жизненному опыту, и скромная семейная хроника обретает черты летописи всего пережитого народом.

Нельзя сказать, чтобы Александр Иванович Воейков («дядюшка профессор», по семейному прозвищу) — один из «и других» согласно аннотации — был обойден известностью. Возможно, что-то и было ему в этом смысле не-

додано при жизни, но не так уж многие на свете удостоились того, чтобы их именем называли корабли, как это случилось с ним, первым русским климатологом.

И все же известность Воейкова была ограничена пределами его специальности. До появления книги Н. Ильиной можно было узнать о заслугах ученого, но не о его характере, бескорыстии, благородстве, независимости — обо всем облике этого прекрасно-чудаковатого русского интеллигента, «беспокойного Воейкова» для начальства тех времен, ибо он был рыцарски готов прийти на помощь всем в ней нуждающимся. Такие люди сами создают вокруг себя совершенно особый духовный *климат*, в первую очередь сказывающийся на близких людях и в конечном счете, пусть и в ограниченной мере, на судьбах соотечественников.

Конечно, дядюшка профессор с его безоглядно жертвенным характером — во многом исключение даже в подобном ряду; и словно чтобы умерить, приглушить столь «высокую ноту», почти по соседству с ним во времени и в рамках того же очерка существует и другой Воейков — Александр Дмитриевич. В отличие от тезки он освещен двойным светом: его безудержная приверженность ботанике оборачивается рассеянным невниманием, а то и просто равнодушием к людям. И если даже «надбытность» старшего Воейкова по временам шокировала домашних, то что уж говорить о младшем! «...дядя Шура раздражал меня, — пишет о своем детском восприятии Н. Ильина, — неслыханный эгоизм, ему на все наплевать, кроме его растений, посадок, гербариев...». Но вот тут же детали житья-бытья этого «неслыханного эгоиста»: «...мятая рубашка, оторванная пуговица на лоснящемся от старости пиджаке — кто стирал ему, кто заботился о нем, что он ел? Меня это тогда не интересовало...». «На улице мороз, а пальтишко у дяди Шуры демисезонное, потрепанное... боже мой, да эту кепку давно бы выбросить, уже неизвестно, какого она была в молодости цвета, какой формы...».

Давняя полудетская досада на нелепого родственника вдруг оборачивается чем-то совсем иным, и анекдотическая фигура на глазах преображается. Это не просто бессребреник (как и дядюшка профессор), но такой же самоотверженный ученый. Долголетний сотрудник Мичурина, без средств, без поддержки, среди опасностей (он даже к хунхузам в плен попадал и подвергался там пыткам, пока его кое-как не выкупили), Александр Дмитриевич жил только своей наукой, неустанно работал, выпускал книги, вызывавшие большой интерес на родине. И в награду за это подвижничество — полунищенское существование на чужбине, одинокая смерть, гибель большой части собранных коллекций.

Об этом тяжело читать. Но об этом необходимо напоминать и помнить. Поспособствуй кто-нибудь поактивнее устройству судьбы А. Д. Воейкова, хлопоты окупились бы сторицей, и этот «эгоистический» фанатик прекрасно вписался бы в панораму нашей культуры. Да разве только непосредственной отдачей, практической эффективностью исчерпывалось бы значение подобных акций?!

Давно забыто даже в среде заядлых театралов имя Катерины Ивановны Корнаковой, некогда блеснувшей во МХАТе, а потом по сугубо личным обстоятельствам очутившейся за границей. И кажется: что нам Корнакова? Тем более что в своих попытках зажить в эмиграции театральной жизнью, сколотить любительскую труппу из молодежи была она столь же маниакально «эгоистична» и нетерпима, как А. Д. Воейков. Но знаменательно это родство душ, бесконечно далеких друг от друга во всем ином (если ботаник бедствовал, то Корнакова томилась в золотой клетке вполне счастливого замужества). Но «жаль того огня, что просиял над целым мирозданьем, и в ночь идет, и плачет, уходя». Раздумье о погибшем ученом перекликается с раздумьем о погибшей актрисе, и раздумье это горькое, несмотря на то, что Н. Ильина пишет сдержанно, порой иронично — по большей части по отношению к самой себе, к своей былой скоропалительности и ка-

тегоричности в оценках и выводах, но нередко и по отношению к некоторым чертам своих героев.

В очерке о Вертинском много интересных страниц (о его искусстве и человечности, о поддержке, оказанной им патриотическим, прогрессивным силам в эмиграции), но, пожалуй, самое важное — это авторские догадки, почему певец осел именно в Китае: здесь эмигранты менее всего могли ассимилироваться, раствориться в местном населении — «Вертинский же без русского слушателя обойтись не мог...».

Именно здесь, в эмиграции, впитывая и претворяя ее тоску по родине, Вертинский проявил в своих песенках невиданную прежде глубину чувства. А то, что Н. Ильина рассказывает о его, видимо, не сохранившихся песенках вроде «Дансинг гёрл» и «Бар гёрл», открывает нам совсем неожиданного Вертинского, полного живого сочувствия к судьбам пресловутых «маленьких людей».

Когда однажды Н. Ильина покаялась Ахматовой в своем былом непонимании ее стихов, Анна Андреевна прокомментировала это словами, слышавшимися в горькую пору из очередей: «...вас здесь не стояло». Да и нам, людям, не испытавшим того, что перенесли многие герои писательницы на чужбине, приходится делать определенные усилия, чтобы понять пережитое в этом мире иного измерения. И то, что писательница умно и тонко состыковывает шедшие по столь разным колеям судьбы, вскрывает их общие корни, представляется большой, принципиальной удачей книги.

Есть в ней пафос сопротивления «мировым безумным сквознякам», о которых упоминал Чуковский, разрыву естественных связей, утрате памяти о некогда близких.

Никого из героев книги ныне в живых нет. Но писательница могла бы, обращаясь к каждому, повторить слова поэта: «Разлучение наше мнимо: я с тобою неразлучима...».

В отрывке из ахматовской «Поэмы без героя», откуда взяты эти слова, есть упоминание о «безмолвии братских

могил». Помимо очевидного, буквального смысла, ощутима здесь и скрытая горечь от несправедливости бесследного исчезновения отдельной человеческой судьбы, этой капли в море «и других» (так ведь говорится не только в злополучной аннотации, к которой мы придрались вначале). Поэтому-то, хотя очерки об Ахматовой и Чуковском написаны с большой любовью и в то же время без «боязни улыбки и острого слова» (если воспользоваться выражением самого автора), я вполне понимаю дядюшку профессора, для которого «самая большая... радость — впервые увидеть незнакомую дотоле местность». Именно незнакомые нам ранее люди, их судьбы, воскрешенные из небытия и забвения живой водой благодарной памяти, — самое интересное в книге Н. Ильиной.

Статья о книге Н. Ильиной «Судьбы»,
М.: «Советский писатель», 1980 //
Новый мир. 1982. № 2

Станислав Рассадин

НЕПОНЯТЛИВАЯ ИЛЬИНА

Быть может — и даже наверняка, — не все воспримут серьезно, если скажу, что одно из свойств и достоинств этой «сатирической прозы» — доброжелательность...

Как? Кто, простите, доброжелателен? Эта язвительная дама, которой не так давно, после ее огоньковской статьи, редактор «Нашего современника» Викулов посвятил на одном из писательских сборищ бешеные и подсудные в своей личностной оскорбительности слова? Такие слова, что, говорят, сам С. В. Михалков, как можно понять, также не пылающий к Ильиной чрезмерной любовью, попробовал смягчить рискованную ситуацию и не то чтобы извинился за темпераментного соратника, но перевел его брань на менее криминальный язык.

Все так. И тем не менее...

Впрочем, порою может показаться, что Наталия Ильина даже чрезмерно мягка. «Зачем же автор прикидывается невеждой? В чем дело? — явит она свою непонятливость, обнаружив, что прозаик Михаил Алексеев, кажется, всерьез полагает, будто в имена городов Мелитополя и Севастополя входит составной частью имя дерева, «тополь». И как бы сделает попытку оправдать подобные словоизыскания: — А быть может, это поэтическая вольность?».

Если мне скажут: это-де всего лишь лукавство, способ изощренной насмешки, а недоумение — притворно, я возражать не стану. Но предположу: а может, здесь еще и упрямое нежелание допускать, что писатель (писатель!) способен находиться с родным языком в столь причудливых отношениях?

В сборнике «Белогорская крепость» есть рассказ о том, как двенадцатью годами раньше редактор некоего издательства с порога «запарывал» книгу фельетонов Ильиной, — собственно, эту же самую, только, конечно, в меньшем объеме. Впечатление чрезвычайно неутешительное!.. На эти темы уже столько всего написано... Для своего времени — куда ни шло! Но сегодня... Словом: «Устарело!».

Что кое-что устарело, согласен. Например, отпала нужда называть некоторые фамилии — скажем, некогда проштрафившихся литераторов из числа ныне покойных да к тому же прочно забытых или забываемых. Тут анонимность — даже по-своему выразительнее, чем кропотливая памятливость, она способна к большей уничижительности — примерно как в одном из «бытовых», а не «литературных» фельетонов Ильиной: «Есть один... Все может достать. Совершенный бандит на вид. У меня в телефонной книжке он так на букву „Б“ и записан. Сейчас найду. Ага, вот... Бандит... Пишите телефон!».

А что действительно долгосрочно и не дает стареть фельетонам, жанру и впрямь скоропортящемуся, так это хотя бы и заявленная мной доброжелательность. Она же, если угодно, и непонятливость — притом не надеваемая по случаю маска простака, которой, впрочем, не брезговал ни один завзятый фельетонист, не поза саркастического недоумения (прием также наизаконнейший, однако всего лишь прием), вообще *не поза, но позиция*. Не хочу понимать, не хочу принимать — режьте, не хочу!

В наших неповторимых условиях ведь и такое простое заявление — бунт, прорывающий толщу многолетнего терпения...

Не обязательно иметь своего Кафку, извлекающего из действительности неприметный взору абсурд, делая его явным. Нам предовольно нашего Зощенко, изобразившего отечественный бедлам, как говорится, в формах самой жизни и с тихим упорством всего лишь нормального человека.

Выразительность нашей ежедневной *зощенкиады* такова, что, дабы убедиться в ее несочиненной гротескности, можно не удаляться чересчур далеко, не подниматься в чрезмерную высь — достаточно отойти на несколько шагов. Удалиться хотя бы — притом буквально — на собственную кухню, покинув на минуту своих разговорившихся гостей. И тогда, всего лишь самую чуточку «остраннившись», услышишь, к примеру, такое:

— Резиновая груша. Это для бачка, извините, в уборной. Стоит тридцать шесть копеек, а нигде... Вода течет, пол мокнет, соседи снизу пишут жалобы, кошмар полный, но... к счастью, один жулик...

— Подфарник. Разбил, неудачно развернувшись. А, думаю, чепуха! Оказалось — черт-те что! Месяц не мог нигде... К счастью, один жулик...

А у нас холодильник. Если б не встретили одного жулика...

Очень живо проходит вечер. Склоняется слово «жулик», часто слышится глагол «украсть». А гости наши — вполне порядочные люди.

...Эта самая кухня, из которой Наталии Ильиной столь явственно очевидна безумность беседы ее почтенных друзей, вернее, безумность той застоявшейся ситуации, которая самый обычный разговор превращает в маниакальное топтание вокруг бессмертного дефицита, — она, то бишь кухня, и есть как бы знак и причастности, и (все-таки) отдаленности. Поглощенности тяжким бытом и способности вдруг поднять искаженное привычной заботой лицо и не то чтобы возроптать, — ропщем-то все, обратив и ропот в привычку, — но рассмеяться. Над бытом — и над собой.

Вот это и есть, я думаю, формула юмора Ильиной (все же юмора, а не сатиры, как нам обещано подзаголовком книги, ибо юмор — это *присутствие духа*, легкость как результат преодоления тяжести). И, вероятно, не зря среди перлов, нещедро рассыпавшихся Анной Ахматовой, но в записи Ильиной образовавших замечательно богатую

коллекцию, не затерялась, а, может, даже особенно выделилась случайная блестка ахматовского юмора: «Как-то в Москве я зашла за ней к Ардовым, чтобы вместе ехать куда-то. Анна Андреевна стояла посреди комнаты в туфлях на босу ногу, держа в руке чулок. Увидев меня, объявила: „Если вдуматься — одного чулка мало!“».

«Если вдуматься» — что тут? Собственная горестная безбытность и бездомовность, на которую словно бы удается глянуть свыше, с такой величавой высоты, что все это, представ в резко уменьшенном размере, кажется не больше, чем смешным. С высоты *ахматовской*, которая не доступна и не должна быть доступна всякому, но отчего б не поучиться и такому, высотному «остраннению»?..

Так что настаиваю: представленное в «Белогорской крепости» — не сатира, не обходящаяся без желчи, а юмор, и тем почетнее для юмориста (и печальней для нас), когда действительность торопится подтвердить, что заслуживает передразнивания...

Это ведь она, Наталия Ильина, находясь среди тех, не очень-то многих, кто не поддавался соблазну льстить «самому лучшему в мире читателю», в статье 1970 года «Демоническая сила» не только лепила в глаза «самому лучшему» правду, но с печальным пониманием встречала в письмах, которыми «лучший» исправно засыпает редакции, то, допустим, ярлык «опстракционная иллюстрация» (навешенный, между прочим, на изображение вполне натурального «ню»), то и такую форму эстетической критики: «Их следует отдавать под суд...». Чему ж дивиться, если незадолго до того премьер в Манеже честил Неизвестного и Жутовского «пидорассами» (выходит, у вольного обращения с иностранным словом тоже начальственная традиция), а неметафорический суд над Синявским и Даниэлем был и вовсе недавно?

Словесная убогость, косноязычие как неминуемый результат паралича мысли неотделимы от желания отдавать под суд, выжигать каленым железом, отлучать, доносить — конечно, весьма и весьма не бескорыстно («местов

мало», а дураков нет), — и до чего ж характерно, что в оставившей стыдное воспоминание телевизионной встрече «условно молодых» литераторов «у самовара» (Ильина написала о ней в «Огоньке»[1], и нашумевшая статья успела попасть в сборник) звучат речи, в которых все это вкупе и налицо:

А я считаю, что нужно не критиковать, а утверждать, утверждать то, что уже есть... Я против критиканства, категорически против, против показания этих самых только негативных явлений... Стоит издателям поменьше бояться, тем более мы ведь никакой аморальности не несем, никакой антисоветчины не несем. Ведь мы несем что? Новые взгляды на то, как сделать нашу страну лучше.

Нахрап — и заискивание. Безграмотность — и страсть к доносительству... Смешно? Горько. Да и страшно, пожалуй.

«Они писать не умеют, но им это и не нужно», — запомнились Ильиной слова Твардовского, сказанные о высоких чинах Союза писателей, но обреченные на отдаленное провидчество. «Не нужно». Нужно совсем другое: «Писатель без власти — никто!» — записала она же афоризм жены литчиновника. Традиции и тут не хотят рваться, воспитуемые и здесь достойны своих воспитателей, и постоянство, с каким Ильина на протяжении стольких лет насмешничает над этими и над теми, может поддерживаться лишь очень сильным источником питания. Тем, который Чуковский определил применительно к ней как «ненависть»...

Однако — стоп. Ненависть? Это не слишком-то парламентски-толерантное чувство? Что ж я тогда твердил о какой-то доброжелательности? О том, что, мол, тут не сатира — юмор?

Но, во-первых, Чуковский-то уточнил: «ненависть к пошлячеству». А во-вторых, вспоминается Саша Черный

---

[1] *Н. Ильина.* Здравствуй, племя младое, незнакомое... // Огонек. 1988. № 42.

с его: «...что под ненавистью дышит оскорбленная любовь».

Любовь — к литературе. К слову. Ненависть — к пошлячеству. А выходя за пределы словесности — ко всему, что мешает человеку ощущать себя человеком. Не ниже, не мельче того, на что стоит тратить и любовь, и ненависть. Ну, а кто оскорбляет любовь, кто не оправдывает ее естественных ожиданий, на кого же ему и пенять, как не на себя самого?

Из статьи о книге Н. Ильиной
«Белогорская крепость», М.: «Советский
писатель», 1989 // Знамя. 1990. № 1

Бенедикт Сарнов

ДОРОГА

А тебе дорога вышла
Бедовать со мною.

Э. Багрицкий

...Скромная известность этого замечательного ученого, само собой, не может идти ни в какое сравнение со всемирной славой Анны Ахматовой, с прочной, более чем полувековой знаменитостью Чуковского, а уж тем более с эстрадной популярностью Вертинского. Даже Корнакова, имя которой сейчас мало кому известно, переживала период бурной и яркой театральной известности. Что же касается Александра Александровича Реформатского, то он по самому роду своей деятельности принадлежал к той категории незнаменитых знаменитостей, которую один поэт не без самоиронии обозначил формулой «широко известен в узких кругах».

Н. Ильина в своем портрете Реформатского слегка касается этой темы. Касается не без горечи и даже, я бы сказал, не без явственно звучащей нотки раскаяния:

> Однажды — видимо, года за два до кончины, — когда он вечером за ужином на кухне предавался устным мемуарам, а я их слушала из вежливости, слушала невнимательно, он, заметив мой отсутствующий взгляд, сказал:
>
> — Ладно, иди, если тебе так некогда!
>
> И добавил в спину мне уже радостно вставшей, уже уходившей:
>
> — Вот я умру, и ты поймешь, что я был Дымов!
>
> Какой он Дымов? Разве его можно вообразить в роли Дымова... кротко и бессловесно исполняющего прихоти легкомысленной Ольги Ивановны, в роли Дымова, пред-

лагающего закусить ее гостям, людям для него чужим и непонятным? «Мой милый метрдотель!» — восклицала Ольга Ивановна. Реформатский, с его нелегким нравом, и Дымов — все сносивший, все терпевший! А я? Похожа я на эту бездельницу Попрыгунью? Ведь ничего же общего!

Да. Ничего общего. И все же. И все же.

...В портрете Реформатского, нарисованном Н. Ильиной, перед нами в полный рост встает фигура одного из последних могикан, последних отпрысков славного некогда племени интеллигентов российских.

В сегодняшних словарях слово «интеллигенция» определяется так: «Социальная группа, состоящая из людей, обладающих образованием и специальными знаниями в области науки, техники, культуры и профессионально занимающихся умственным трудом».

Раньше это слово объяснялось иначе, и значило оно совсем другое. Словом «интеллигенция» в России с 70-х годов прошлого века обозначалось некое сообщество людей, имеющих свой неписаный кодекс чести, нравственности, свое призвание, свой идеал. Это было нечто вроде рыцарского ордена, хоть и без какого-либо регламентированного устава, но с весьма твердыми принципами и нормами общественного поведения...

В те времена, когда слова «интеллигенция» употреблялось еще в старом своем значении, предлагалось множество дефиниций, пытавшихся определить, кого следует, а кого не следует считать интеллигентом. Отнюдь не претендуя на то, чтобы добавить к уже существующим определениям нечто принципиально новое, я бы предложил еще такое: интеллигентом называется человек, который будет с полной самоотдачей заниматься делом своей жизни, даже если ему не будут за это платить. Говоря проще, это человек, для которого главное занятие его жизни не профессия, а *призвание*, от которого он не откажется ни за какие блага. А все остальное имеет для него смысл или значение лишь постольку, поскольку помогает (или мешает) делать это свое дело, осуществить это свое призвание.

А. А. Реформатский был именно таким человеком. И автор воспоминаний обнажает самую суть его личности, этой его духовной природы, даже когда рассказывает о пустяках, о, казалось бы, совершенно незначащих, бессмысленных его чудачествах и привычках. Скажем, о том, как Александр Александрович не любил выбрасывать картонные коробки из-под обуви, всякий раз норовя использовать такую коробку для какой-нибудь новой, очередной картотеки.

Чтобы не рассусоливать (а я мог бы говорить на эту тему долго), скажу только одно: читая страницы книги Н. Ильиной, посвященные Реформатскому, я поминутно испытывал жгучее чувство стыда. Мне было стыдно, что я слишком часто в жизни придавал значение вещам, для настоящего интеллигента не имеющим никакой цены. Тому самому комфорту, который Александр Александрович презрительно называл «конфорт». Каким-то предметам домашнего обихода, которые, как мне казалось, у меня недостаточно хороши. Вот, скажем, часы. Ведь можно же довольствоваться старенькими часами «Победа», которые честно служат тебе уже тридцать лет...

Кажется, я опять ушел в сторону от книги Н. Ильиной. Впрочем, нет, не ушел. Ведь в конечном счете главная цель автора этой книги (во всяком случае, этой ее главы) как раз в том и состояла, чтобы вызвать у меня именно эти мысли, именно это жгучее чувство стыда...

Итак, мы остановились на том, что интерес, который пробуждает книга Н. Ильиной, в немалой степени вызван интересом к тем замечательным людям, о которых она пишет. Но не только этим. Не меньшую роль в создании этого интереса играет особый тон повествования, счастливо найденный автором. Тон этот можно определить словом «нелицеприятность». Даже, пожалуй, более резким, более жестким словом — «беспощадность».

Авторы воспоминаний о людях, чем-либо прославившихся, любят наводить хрестоматийный глянец, тщательно высветлять образ знаменитого человека, а тем более чело-

века, уже опочившего от трудов своих. Тут, вероятно, действует еще и старинное, с древности известное правило: о мертвых либо хорошо, либо ничего.

Наталия Ильина ни в малейшей степени не руководствуется ни этим правилом, ни дурными традициями сахаринного мемуарного жанра.

Вот в какой тональности вспоминает она о Корнее Чуковском, человеке, которому была многим обязана, которым искренне восхищалась, властное обаяние которого действовало на нее сильно и безотказно:

> Идем мы с ним гулять. Навстречу пара — муж и жена средних лет, мне неизвестные, то ли переделкинские постоянные жители, то ли обитатели Дома творчества. Корней Иванович здоровается с мужем, что-то радостно восклицая, а жену прижимает к груди, целует, ласково и томно заглядывая в глаза... Расстались. Отошли. «Корней Иванович, кто это?» — «Это? Такой-то. Пишет плохо». — «А она?» — «Бог ее знает. Второй раз в жизни ее вижу».

Впрочем, Чуковский человек особенный. О нем скорее, нежели о ком другом, можно сказать, что он был «живым, живым и только, живым и только до конца». Вряд ли удастся припомнить какого-нибудь другого литературного патриарха, которому так не пристал бы хрестоматийный глянец.

Но вот — Ахматова. Казалось бы, рисуя ее портрет, почти невозможно не сбиться на иконопись... Облик Ахматовой даже в самые последние годы ее жизни был так величественно-прекрасен, что — трудно отделаться от соблазна следовать путем, которым шел Серов, создавая свой знаменитый портрет Ермоловой.

Но Ильина решительно выбирает другой путь:

> Я приезжаю за ней. Она меня ждет, она готова. В передней я помогаю ей надеть пальто, и вот, натягивая перчатки, она говорит тем, у кого в данный момент живет: «Если будут звонить, отвечайте, что я уехала кататься!». И несоответствие этих отдающих девятнадцатым веком слов с ее одеждой, бездомностью, чужой передней и тем, что нет

ни ландо, ни кучера, а есть только я, которая не так уж охотно пожертвовала свои рабочим утром, чтобы везти ее «кататься», каждый раз пронзало меня жалостью.

Эта трезвая беспощадность зрения свойственна Ильиной не только когда она рисует своих героев. Так же беспощадно умеет она взглянуть и на себя:

> Когда-то в моем отношении к Ахматовой было нечто от внимающего учителю робкого ученика. Затем, привыкнув и освоившись, решив, что и она не без слабостей, я стала чрезмерно свободно ощущать себя в ее высоком присутствии. Мало того. Уже мои дела, мои заботы нередко казались мне важнее ее общества. Исчезло постоянно жившее во мне желание что-то сделать для нее, чем-то ей услужить... Бывало, она звонила мне: «Не могли бы вы каким-нибудь чудом...». И чем бы я ни была занята, я все бросала и мчалась к ней. Позже — своих дел ради нее я бросать не собиралась. Она это знала. Она знала все. И последние два-три года своей жизни уже ни о чем не просила меня...
>
> Сейчас, перечитывая ее стихи, написанные в последнее десятилетие ее жизни, в период моего с ней знакомства, из ее уст впервые слышанные, — сейчас я остро понимаю, *кто* был рядом со мной и как недостаточно я это ценила. Но прошлого не вернешь. Содеянного не поправишь.

Это умение взглянуть на себя тогдашнюю из сегодняшнего дня, ничем не обольщаясь и ничего не приукрашивая, еще больше укрепляет ту атмосферу *правды*, которой пронизаны нарисованные ею портреты. Мудрено ли, что портреты вышли живыми, верно передающими натуру. И мудрено ли, что интерес к натуре при этом оттеснил на второй план интерес к личности автора.

Но так было, повторяю, при первом чтении. Две эти книги — «Судьбы» и «Дороги» — существовали еще раздельно, не были слиты в одну. А теперь, когда я перечитывал хорошо мне знакомые главы, объединенные под одним переплетом, у меня было чувство, что я читаю совсем другую, новую книгу. И совершенно особый смысл вдруг обрел не замеченный мною раньше подзаголовок «Автобиографическая проза».

Суть этого нового, до некоторой степени неожиданного для меня эффекта состояла в том, что книга воспринималась как повествование не о тех, с кем автора на разных поворотах жизненного пути свела судьба, а *о себе самой*...

Словом, новая книга Н. Ильиной воспринимается не как простое собрание разрозненных очерков и воспоминаний, а как связная, последовательная, внутренне завершенная *повесть о жизни*, о непростой, исполненной истинного драматизма судьбе автора. Н. Ильина написала наконец книгу, первым робким подступом к которой был ее давний роман «Возвращение». И надо сказать, что на сей раз она нашла более органичную для себя форму, более свободный, более *художественный* (хотя внешне и менее претендующий на художественность) способ повествования.

Дело даже не в подробностях быта (и эмигрантского, и на первых порах нового для нее советского быта), которые интересны и сами по себе. Дело, думаю, во внутренней, лирической теме, пронизывающей все главы этой единой повести — и те, что по жанру приближаются к мемуарам, и те, что стоят ближе к путевому очерку, и те, где автор прямо и непосредственно рассказывает читателю о различных обстоятельствах и перипетиях собственной своей судьбы.

Лирическая тема эта явственно звучит и в рассказе о совместном путешествии по Италии с другом юности — русским эмигрантом, некогда вместе с нею мечтавшем о возвращении домой, но волею обстоятельств прожившим всю жизнь во Франции; и в рассказе о встречах с ее парижскими родственниками — русскими французами или офранцуженными россиянами; и, как ни странно может показаться на первый взгляд, в таком далеком по содержанию от этих глав рассказе об Анне Ахматовой. Здесь даже, пожалуй, лирическая тема звучит явственней, обнаженней, чем в других главах:

> Февраль — март 1956 года. Морозы в феврале до тридцати пяти градусов. Я живу на улице Обуха, в очередной снимаемой комнате. Вокруг чужие вещи: легкомысленные

шатающиеся столики, за которыми трудно писать, расстроенное пианино, пыльные ковры, на стенах фотографии в затейливых рамках и расписанные, с золотыми ободками тарелки. И все же я довольна. Тихо, толстые стены старого дома, соседей не слышно, можно работать. Хотелось, чтобы друзья за меня радовались, и я была очень огорчена словами своей в те годы близкой приятельницы... Оглядев тарелки и рамки, она воскликнула: «Как вы можете тут жить? Я бы не могла».

А Анна Андреевна, войдя, сказала: «Здесь божественно тепло!».

Короткая реплика эта говорит о многом. В частности, о том, что царственная, надменная Ахматова прекрасно знала, что такое холод, пронизывающий до костей, и что такое бездомность.

Она стала рассказывать мне о том, как ее навестил в больнице один швед...

— И была на нем рубашка ослепительно белая, как ангельское крыло. И я думала: пока у нас была война, революция, опять война, пока мы обагряли руки в крови, сидели в блокаде — в Швеции только тем и занимались, что гладили и стирали эту рубашку...

Чужой быт? Чужие вещи? Неуют?.. Какие пустяки! То ли еще приходилось выносить...

Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

Хотя ахматовский эпитет «надменнее» к мироощущению лирической героини Н. Ильиной, пожалуй, не подходит. На своих европейских родственников, друзей и знакомых она взирает без какой бы то ни было надменности. С сочувствием, с ясным пониманием, что у них (несмотря на ослепительно белые, как ангельское крыло, рубашки) тоже есть и свои беды, и свои сложности, и даже свои трагедии. Разве только еле заметный оттенок снисходительности нет-нет да и проскользнет в ее взгляде — так взрослый, повидавший кое-что на своем веку человек глядит на беспечного, наивного подростка.

Под вечер сижу в саду с книгой. Тишина нарушается смехом, английским говором, доносящимся с площадки перед домом. Откуда-то вернулись Катя и Джон. Окликаю по-русски: «Катерина! Поди-ка сюда!»

Явилась. В теннисном облачении: белые шорты, белая рубашка, кеды, носки. (Как тут не вспомнить ослепительно белую рубашку ахматовского шведа! — *Б. С.*)

— Да, тетка? (Ей нравится так меня называть.)

— Скажи, кто он тебе, этот Джон?

— О! Просто знакомый.

— Давно ты его знаешь? Где познакомились?

— Одна неделя. Встретила у друзей.

— Замуж за него собираешься?

— О, нет, тетка. Он хорошо играет в теннис.

— Ладно. Беги.

Итак: знакома всего неделю, притащила его сюда в качестве партнера для тенниса. Отплыли, значит, от меня Гонконг, где он родился, и Бангкок, где живут его родители. Ах, нет. Наоборот. Родился в Бангкоке, а родители живут в Гонконге. Впрочем, зачем я напрягаюсь? Теперь мне это все равно. Эта география меня уже не касается. И, повидимому, не коснется.

Но откуда мне известно, что коснется меня, а что — нет?..

Так много географических понятий уже коснулось ее. Не просто коснулось, а стало частью ее судьбы: Омск 1919 года, Харбин 20-х и 30-х годов, Шанхай 40-х, Казань и Москва 40-х и 50-х, Париж 60-х... Все это вехи одной дороги, длинной, извилистой, но — одной. Но тут уж речь должна пойти не о географии, а об истории, властно лепившей и судьбу автора книги и судьбы ее героев.

Из статьи о книге Наталии Ильиной «Дороги
и судьбы». М.: Советский писатель, 1985 //
Новый мир. 1986. № 5

Е. Старикова

«О ЧЕСТНОСТИ, О СКРОМНОСТИ, О ПРАВДЕ...»

...Этот удивительный Пушкин: чего бы и когда бы мы ни коснулись, он всегда на месте и ко времени, всегда даст ключ к осмыслению самых разнообразных явлений на этой безмерно широкой и нерасчетливо щедрой российской земле. И у Наталии Ильиной пушкинская ассоциация оказалась куда как на месте! «Белогорская крепость» — прекрасное название.

Когда читаешь книгу Наталии Ильиной, перед тобой раскрывается во времени и пространстве — в нашем времени и в нашем пространстве — связь бесчисленных «фельетонных» мелочей этой жизни с общим направлением ее течения. Через час чтения «Белогорской крепости» я заметила, что у меня дрожат руки. С чего бы это? Помнится, ни тридцать, ни двадцать лет назад сатирическая проза этого автора такого действия на читателя не оказывала. Тогда мы смеялись: как точно замечено! Как остроумно написано! Сегодня же, когда мы довольно бесстрашно, а вернее, закаленно читаем о кровавом рэкете и смотрим на прочно застывший остов Елабужского автомобильного завода на экране телевизора, дрожат руки...

Убила постоянность проблем. Прочность корней. Их глубина и разветвленность, обеспечивающие мощность роста побегов. Читала фельетон за фельетоном и думала: что же происходит? Мы так сейчас рассчитываем на гласность, так радуемся непривычной свободе словоизъявления, а вот ведь и двадцать, и тридцать лет назад гласно и письменно предупреждали нас примерно о том же самом,

что волнует большинство и сегодня. А воз и ныне там? Или не совсем там?

Закрываю книгу, снова открываю ее. Наобум, в разных местах, как при гадании: что было, что-то сбудется?.. Легкая ирония автора, пародирующего в столь прозаическом случае блоковскую романтическую интонацию: «О честности, о скромности, о правде много пишет сегодня наша печать. И призывает всем миром сражаться против взяточников, жуликов, хапуг и спекулянтов», — так начинает Наталия Ильина историю продажи своего автомобиля и продолжает: «Читатели, живущие на трудовые доходы, этими статьями взволнованы: в редакцию идут сотни писем. Дружно осуждается циничная поговорка: от трудов праведных не наживешь палат каменных. Читатели утверждают, что в основе нашей жизни — честность, трудолюбие, совестливость, этого хапугам не одолеть. Однако отдельные жулики это одолевают и в палатах живут, будто законы не для них писаны. И надо с этим бороться!».

С 1985 года, когда писала эти слова Наталия Ильина, намерения честных бороться с нечестными, как известно, во много раз укрепились. Бьют стекла кооператорам — главным врагам нашей общей добродетели, по мнению большинства. (Почему не били окна в магазинах «Березка»? Тихонько, широко покупали чеки — один к двум, помнится?) Впрочем, бьют стекла и в автомобилях, и в дачах — тоже распространенные виды чумы XX века... В общем, способы торжества справедливости множатся. В 1985 году наш опыт здесь был скромнее.

Сегодня никого не интересуют экономические теории развитого социализма, сегодня могут интересовать только его последствия... Поэтому-то читать старые фельетоны Наталии Ильиной — занятие не только приятное, но и актуальное. Правда, сам автор, на первый взгляд, ограничил себя скромной задачей: «показать некоторые, как писали в старину, гримасы быта». Но ведь читая Наталию Ильину, мы уже добрались до «честности»? В еще более давнюю старину это называлось «нравами» — правилами поведе-

ния и привычками общества. Помните, когда-то школьники обличали в сочинениях «Фамусовскую Москву»? Теперь речь идет о нас с вами. Наталия Ильина предлагает нам при помощи доступных примеров задуматься о самих себе... Как всегда не щадя себя в качестве персонажа житейских битв и не отделяя себя от «остальных», писательница рисует очередь в химчистку, где, измученная «гримасами быта», она истерически кричит приемщице, в данном случае ни в чем не повинной: «...Мы для вас, а не вы для нас, то есть вы для нас, а не мы для нас, нет, наоборот, мы... вы...». Героиню фельетона отпаивают водой, читатель смеется, узнавая себя, а автор призывает всех «по возможности любить друг друга». Трудно любить, но надо стараться, как сказал где-то Л. Н. Толстой.

Однако кто же в самом деле «вы» и кто «мы»? Кто для кого? Кто прав и кто виноват? Где следствие и где причина общего... как бы это выразиться поприличней... беспорядка?

Ясно, ясно: искусственная экономика, несовершенные законы. Но какую роль между тем и другим играют нравы, привычки, общепринятая мораль?..

Сегодня гневный призыв: «Не пора ли кончать с Белогорской крепостью?» не вызывает такой оптимистической уверенности в успехе, как еще двадцать лет назад: дескать, о чем речь? Нет таких крепостей, чтоб мы не взяли! Утратив обаятельное добродушие, крепость в остальном оказалась воистину бессмертной. А ее «буколическая простота нравов» снова обернулась трагедией; несовместимостью этой простоты с технологическим уровнем земной цивилизации кануна третьего тысячелетия нашей эры. Мы можем сколько угодно протестовать против разных АЭС, ахать при столкновении в морях и на реках сухогрузов и прочих плавсредств, создавать экологические общества, привычно перепрыгивая через вечную лужу в собственном дворе, и т. д. Но пока парикмахер и продавец будут через наши головы сообщать друг другу семейные новости, пока шоферы не выходят на работу по случаю

именин тещи, пока тракторист едет обедать на тракторе до родимого крыльца, превращая деревенскую улицу в месиво из грязи, пока резвящийся турист валит столетнее дерево, чтобы отдохнуть часок на бревнышке, пока... пока... пока... Пока Белогорская крепость хотя бы не задумается всерьез о своих милых семейных привычках, угроза ее существования будет нарастать. Так *сегодня* читается остроумная проза Наталии Ильиной.

В ее книге много места уделено литературе и искусству: их художественному уровню, тиражам, бестселлерам и т. д. Много здесь смешного, очень много. Это поэзия и проза Белогорской крепости, уже повесившей своих бравых комендантов, распрощавшейся с честными гриневыми, спевшейся с беспринципными швабриными и при том сохранившей хитрую «простоту нравов» в собственных практических делишках. Многомиллионные тиражи филевской прозы — прекрасная питательная почва для нравов самой читающей в мире крепости. Ох, боюсь, что именно тут появился повод обвинить и меня в модном ныне грехе — русофобии! Только ведь ни я, ни Наталия Ильина не исключаем себя из числа обитателей крепости. Culpa mea[1]. Что, однако, поделать, если давние крепостные летописцы и бояны научили некоторых из нас жить с открытыми глазами?

Наталия Ильина давно и многое подглядела. Приметливость взгляда к нелепым «гримасам быта» и демократическая широта интересов к бытию современников — основа ее «сатирической прозы». Сатирического эффекта автор достигает в первую очередь сдержанной интеллигентностью тона самого рассказа. Как это и свойственно воспитанному человеку, Наталия Ильина пытается в любой ситуации, даже самой нелепой, поставить себя на место своего оппонента. И получается поразительный саркастический результат: мягкое спокойствие интонации рассказа пленительно оттеняет смешную, некультурную, дикую, а в

[1] Формула извинения (*лат.*)

конце концов беспомощную и самогубительную сторону нравов родной Белогорской крепости.

Из статьи о книге Наталии Ильиной
«Белогорская крепость» //
Октябрь. 1990. № 1

Марина Новикова

ПРИ СВЕТЕ СОВЕСТИ

...Есть в книге своя королева, Анна Андреевна Ахматова. Свой король-сумасброд, «добрый дедушка Коль» (на манер английского детского фольклора), Корней Иванович Чуковский. Свой хранитель Великого Русского Языка: Александр Александрович Реформатский. Свой менестрель — Александр Николаевич Вертинский. Все, между прочим, не только с именем, но и с отчеством. Что составляет примету не просто литературного, а и человеческого стиля Наталии Иосифовны Ильиной. Многие ли из нас помнят, что Вертинский был Николаевичем? Вообще много ли *отчеств* (даже современных литературных и артистических звезд) держим мы в уме? Наталия Иосифовна Ильина держит их непременно. Это *ее* планка достоинства и позабытой нами «старорежимности» в общении с людьми.

Вне «плюрализма» — не только отчества, но и отечество. Никакого — уже привычного сегодня — права на выбор. Хотя Наталии Иосифовне Ильиной это право предлагала, казалось бы, сама судьба. Дочь белого офицера и бестужевки, через Сибирь она ребенком попала в Харбин. Там и выросла. Потом работала в Шанхае. Только после Второй мировой войны репатриировалась в СССР. Она ли не могла выбирать? Между Россией и *не* Россией. Между Европой и Азией. Между «большевистской Совдепией» и «белоэмигрантской свалкой истории» (так язвили друг друга две половинки разорванной Родины).

Но нет, отечество одно — тут. При том что могила отца в Швейцарии. И могила наставницы по харбинской те-



Н. И. Ильина. 1990



Екатерина Дмитриевна Воейкова, Катя, Н. И. Ильина, Вероника. Архангельское, 1964



Катя Лаиль, Вероника Жобер, Н. И. Ильина и Коля Жобер. Ля Боль, дача «Le Palmier», лето 1978



Н. И. Ильина.
Ля Боль, 1981



Ля Боль. Сидят: Жиль Жобер, Н. И. Ильина, Морис Лаиль.
Стоит Ольга Лаиль. Рядом с плетеным креслом — Дима Жобер.
1981



Четверги на кухне. Ольга Лаиль, Н. В. Васильева,
Н. И. Ильина, В. А. Виноградов, Р. Ф. Касаткина.
Июнь 1993



С Л. Л. и Р. Ф. Касаткиными



С Ю. Ф. Карякиным.
1979



Н. И. Ильина, Ольга Лаиль, Р. Ф. Касаткина,
Н. В. Васильева, В. А. Виноградов



Н. И. Ильина и Морис Лаиль. Noël, 1989



С Вероникой и Катей



Рождество. Париж. Габриэль Жобер, Н. И. Ильина,
Вероника, Дима



День рождения Мориса. Ля Боль, 21 августа 1982



И снова лингвистический четверг. За круглым столом — М. А. Реформатская, Н. В. Васильева, Р. Ф. Касаткина, Л. И. Сараскина, А. А. Кабаков, Н. И. Ильина. Стоит Л. Л. Касаткин



На веранде у Верейских. Наташа, Орик, Люся



Н. И. Ильина, С. Н. Федоров, Ольга Лаиль, Н. П. Шмелев



Н. И. Ильина, Вениамин и Галя Смеховы. 1990



С Владимиром Кандауровым.
La fete des rois — праздник королей. Париж, 1990



В Троице-Лыкове.
Июнь 1992

Н. И. Ильина и Адель Баркер, проф. Аризонского университета.
Лос-Анджелес, февраль 1989



После лекций.
Тусон. Университет Аризоны



Иосиф Сергеевич Ильин. Швейцария. 1970-е гг.



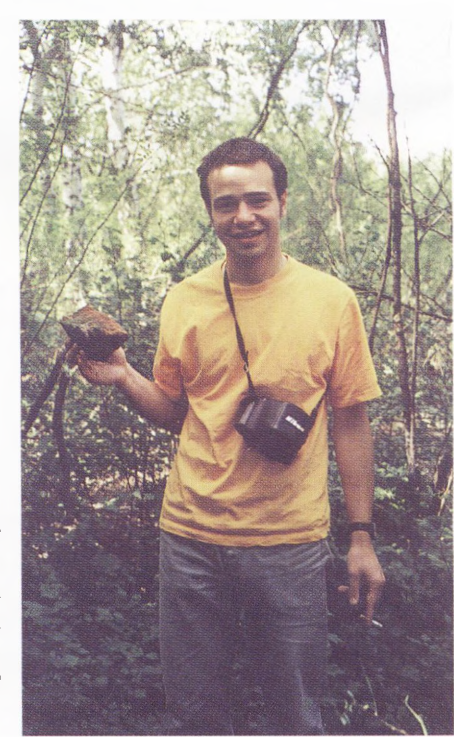
Н. И. Ильина.
Июнь 1985



У Верейских с Вероникой. Последняя фотография.
Красная Пахра, январь 1993



И. Н. Зорина, Вероника Жобер и Ю. Ф. Карякин в Ульяновске. 1999



Коля Жобер
с кирпичом
из фундамента
бывшего барского дома
в Самайкине.
Август 1999

атральной студии, бывшей мхатовки Корнаковой, — в Лондоне. И прелестная племянница Вероника — профессор в Париже. А еще был брат одноклассницы, мальчик с круглым веснушчатым лицом, Юлька, он же впоследствии киноактер Юл Бринер в Америке. Да на полсвета разбросаны ее одноклассники, приятели, знакомцы, родичи то по одной, то по другой линии!

Настоящая европеянка. Мало сказать. Европеянка *недосягаемого* (для тех, кто рос по сю сторону железного занавеса) уровня в своей непринужденной «космополитичности». А отечество все равно — только Россия. Или СССР. В 40-е это казалось синонимом. Позже уже не казалось: осталось — Россия. Зато она и *осталась* — не вне сравнений, а вне выбора... Иерархия предметов.

Благостна ли от этого книга Наталии Ильиной? Или, может, императивна, менторски тяжеловесна? Да ни Боже мой! Из каждой страницы как из-за угла выглядывает обидчивая, застенчивая, норовистая девчонка. Столько штопаных чулок и благотворительных обедов (две котлеты на троих) пришлось ей сносить: чулки — буквально; полунищенство — в душе. А она все нараспах общается с музыкой, с городами, с «замечательными людьми» (помните эту нашу серию биографических книг?).

А иерархия все-таки остается. Не как готовая данность, а как путь, и путь нелегкий. Почти всегда у «легкой» Ильиной он лежит через *покаяние*. Странное слово со странной судьбой... Все его нынче поминают: обе Православные Церкви, здешняя и зарубежная, «колонки редактора» и «письма читателей», невозвращенцы и непокиданцы. Все простирают руки друг к другу и требуют: покайтесь! *Вы*. Не мы. И уж заведомо не я. Иначе звучит этот мотив у Ильиной, а звучит он постоянно, хотя слово «покаяние» — кажется, ни разу.

В книге мало откровенной политики. Лишь в том случае, когда политика прямо-таки танком въезжала в *личные* обстоятельства дорогих автору людей. Что, впрочем, случалось, и не единожды. Например, марровский марш-

7 Заказ № 718

бросок на языкознание, едва не расплющивший научную деятельность А. А. Реформатского. Или возвращение Л. Н. Гумилева, сына Ахматовой, с «каторги» (по слову самой Ахматовой, тоже, как и Ильина, называвшей вещи старыми, подлинными именами). Вплоть до похорон К. И. Чуковского: под страхом появления на них А. И. Солженицына власти превратили похороны в военизированную операцию, с патрулями в форме и без, с радиопереговорами на кладбище (!) и прочим хорошо организованным абсурдом.

И все же повторюсь: политики как таковой в книге мало. А покаяния много. Якобы сугубо частного: за свою вечную спешку по делам, за неуместную фразу, не понятый вовремя взгляд (просивший тепла), звонок (выдававший одиночество). За все, в чем мы с вами грешны ежеминутно, да вот не каемся почти никогда. Наталия Ильина же превращает самый жанр воспоминаний в жанр покаянный, самосудный. «Искусство при свете совести» — такой подзаголовок был бы уместен для книги Наталии Ильиной.

Ни на дольку не допуская кокетливого самоуничижения, Н. И. Ильина трезво (а через пороги смертей, оборачиваясь к ушедшим, и *горько*) оценивает себя перед лицом своих персонажей. Я была ему не в рост, скажет о любящем и любимом муже, Реформатском. О других если и не скажет этого, так воочию покажет. Что не в рост была и Ахматовой, и Чуковскому, и двоюродному деду, знаменитому климатологу Александру Ивановичу Воейкову. Не в рост научного самоотречения — родному дяде своему, тоже Александру Воейкову, только Дмитриевичу. Не в рост славы — Вертинскому.

Однако подумаем: ведь кто-то же окружает «рослых», замечательных людей, творящих искусство, литературу, науку, в конечном счете — историю? Чаще всего окружают — простые люди. Отчего сами по себе, *человечески*, нисколько не умаляются. Наталия Ильина портретирует их неутомимо: няню в Харбине, всхлипывающих над несбыточными своими мечтами ночных герлс на венчанье

Вертинского, бабушку в Петербурге-Ленинграде, преподавателей в институте, соседок за стенкой комнатушки. И каждый раз выясняется: все они, кто не растерял человеческой *подлинности*, тоже делают историю. Отправляя старомодно подробные письма на трех языках вперемешку. Экономя на керосине, но не на любви. Путаясь подчас под рукой у «рослых», серчая на них без оглядки на масштабы, они свой короткий жизненный свет передают тем, кто продлевает его в «долгие дела» (В. Маяковский).

При чем тут, однако, покаяние? А вот при чем.

Идеологизированная, «овнешненная» история смущенно воздает своим большим и великим детям посмертную славу, посмертный авторитет. (Беру удачливый вариант.) Но и слава, и авторитет постепенно (а иногда и быстро) отделяются от внутренней жизни своих носителей. От их душевной и духовной биографии. Отделившись же, становятся доступными для чернухи и геростратовских ниспровержений. Именно тогда мы начинаем бить по истории наотмашь. Бить по человеку, по человеческому лицу все-таки нелегко; бить по «замечательным человекам» из биосерии (то есть по репутациям) очень даже по-геростратовски соблазнительно.

Лишь до тех пор, пока кому-то *лично* больно за то, что Ахматова ходила в старых перчатках, а Реформатский давал свои статьи близким, а тем недосуг было их прочитать; пока кто-то *лично* видит Вертинского, согнувшегося под холодным дождем в Шанхае, или *лично* слышит, как хохмач Чуковский, молодой и в старости, говорит вдруг: «А ведь вы меня жалеете...» — пауза — «...Но это хорошо», — лишь до тех пор история остается для нас человечной. И значит, не безразличной не только для нашего ума, а и для нашей совести.

Тогда внезапно понимаешь еще одно: иерархии предметов нельзя выучиться. Ее можно только воспитать — в собственной душе и через собственную душу. Но когда есть не убитая традиция, есть явленная перед тобой *культура другой души*, это сделать легче.

...Из писем 30-х годов от старой петербурженки, потом ленинградки, бабушки Ольги Александровны. Той, что корреспондировала на трех языках:

о приработках (пенсии, естественно, нет): «...с уроками трудно. Надо изучать фонетический метод преподавания, а в мои годы смешно браться за новое дело. Я не императрица Елизавета Австрийская, чтобы на седьмом десятке учить греческий язык!»;

о поездках в Географическое общество: «Сейчас эти поездки мне стали и с провожатым недоступны. Я лишаюсь единственного места, где еще смутно проглядывалось прошлое и где убеленные сединами сверстники еще говорили знакомые фразы знакомым языком...»;

и тогда же, тревожась за внучек в Харбине: «Какое лишение именно для растущих ныне не иметь родины, как неизбежно это приводит если не к трагедии, то к поверхностно-циническому отношению к жизни. Ведь юному существу так трудно, минуя родину, связать свою судьбу с мировым целым!»

Такая вот получилась книга. Безусловно «субъективная». Не везде «блистательная». А в глубине — светится и *болит*.

Из статьи о книге Наталии Ильиной «Дороги и судьбы».
М.: «Московский рабочий», 1991 //
Новый мир. 1992. № 3

ИЗ ПИСЕМ К НАТАЛИИ ИЛЬИНОЙ

Дорогая Наталия Иосифовна!

Редкие тексты, вышедшие из-под пера современников, хочется перечитывать; Ваш роман без вранья (простите мне всуе всплывшего Мариенгофа) ложится на душу, к нему возвращаешься. Чудную, горькую книгу Вы написали, сказав о русской, о советской интеллигенции гораздо больше, чем, может быть, сами предполагали. Я человек не очень сентиментальный, хотя и не без этого. Так вот, книга Ваша меня задевает очень лично, как будто все было и еще будет со мной. Тут дело не в одной правде. Назвать все своими именами — вещь, конечно, нужная и необходимая, но она лежит в другой плоскости — не литературной, а нравственной. Самое же главное у Вас (раньше этого не было ни в блистательных фельетонах, ни в «Возвращении») — художественная боль, милосердие, нас возвышающее чувство утраты, то, что Шуман и называл искусством: «воспоминание о самом прекрасном, что жило и умерло на земле». Бабушка, мать, Реформатский, Ахматова — герои моей истории, а не только Вашей, личной, и история эта — трагическая, но как-то очень по-русски, у нас о трагедии говорить не любят, — смягченная тайным чувством долга, предназначения и впитанным в кровь спокойным, с юмором стоицизмом.

Боже мой, вновь и вновь думаешь, как грустна наша Россия. А ведь никуда не денешься, в ней и судьба, и дорога, и счастье.

Евгений Сидоров. Москва

...Благодаря Вам узнала, что была такая замечательная актриса Корнакова, которую Станиславский ставил в один ряд с Тарасовой. Если бы не Вы, никогда бы о них не узнала, не познакомилась так близко.

Мне глубоко симпатичны и Вы, и члены Вашей семьи, и меня почему-то волнует и Ваша дальнейшая жизнь, и судьба Ваших племянниц, и внучатых племянников, и Вашей сестры Ольги Иосифовны, — когда Вы описываете свое пребывание у Вероники, Вы почему-то ничего не говорите о ней. Ловлю себя на том, что хочется передать всем привет, как будто я давно с ними близко знакома. Все ли у них благополучно?

Как мне близки все Ваши переживания детства и юности, хотя я родилась совсем в другое время, в 1951 году. Удивительно!

Инесса Шестеренко. Москва

...«Дороги и судьбы» читаю на ночь — помогает выжить. Все нелюдское исчезает, растворяется, и ты опять в настоящем мире. Завтра можно жить дальше.

Когда Александр Александрович умер, я ревела и ревела, оказалось (хоть и не смела никогда приблизиться к нему), все время чувствовала, что он здесь, рядом, есть к кому подойти. И вот... Была острая боль, что не стало последнего доброго человека, что мир остался холодным. *Та* эпоха кончилась.

Спасибо Вам, Наталия Иосифовна, Вы ее продлили.

Нина Леонтьева. Москва

...Об А. И. Воейкове я читала много, но это все дореволюционные издания. Этот материал хранится в школе в Самайкине. Многое я переписала сама. У нас выставлены материалы, которые были собраны в селе Фабричные Выселки, где когда-то была суконная фабрика Воейковых. Нам, землякам, грешно не знать историю первого климатолога и географа.

Хотела сфотографировать место, где жили Воейковы, но не сумела. Там, где стоял дом, даже фундамент уцелел.

Питомник до сих пор существует, но там только плодовые деревья. Многое исчезло. А ведь на питомник Воейков свозил деревья и кустарники со всего земного шара. Многое оклиматизировал.

Все же кое-что там осталось: различные сорта яблонь, груш, вишни, смородины, слив. Питомник хотят увековечить именем Воейкова. А суконная фабрика отца А. И. Воейкова превратилась в обойную. Обои идут в 40 крупных городов, вы можете их встретить даже в Москве.

Мария Сергеевна Гордеева.
Новоспасское Ульяновской обл.

...Восторг и влюбленность подняли меня над повседневностью и приблизили к Вам. Так же, наверное, как в свое время Ваш восторг перед Ахматовой и другими великими давал Вам чувство легкости подружиться с ними.

Б. И. Лисянская. Баку

«...От странной лирики, где каждый шаг — секрет, где пропасти налево и направо...» Вы, чуткий, тонкий писатель, приоткрыли для нас и секреты «странной лирики», и те «пропасти налево и направо», которые для Анны Андреевны были реальностью... Бог мой, прочел взахлеб, на одном дыхании!

Пишу из старинного города Гродно. Город очаровательный, ему уже 850 лет. Много изумительных памятников старины. Костелы XVII века, дворец Радзивиллов с усыпальницей в глубоких склепах. В июле будет масса фруктов. Я все это пишу Вам, что, быть может, Вы найдете время посетить Гродно? Ей-Богу не пожалеете! Мы были бы счастливы Вас встретить.

Александр Петрович Струнин

Вы, наверно, думаете, что я уже умерла? Нет, жива еще и, как видите, не забыла Вас. Читать, правда, некогда. Много дел. Надоели Вам мои письма? Но ничего не могу с собой поделать. Пишу как в небесную канцелярию.

Часто думаю о вас, дорогая, и очень хочу встретиться. Только не надо зазнаваться, милая Наталия Иосифовна. Это не украшает. Я — не «каждая» и «каждой» писательнице не пишу. И ни с кем я Вас не путаю, попрежнему милая моему сердцу дама. Разве Вас можно с кем-то спутать, королевна?

Если бы мне писали такие теплые и сердечные письма, я бы помчалась к этому человеку. Когда у меня будет билет на руках, напишу.

Жму руку, упрямая и суровая писательница.

(На конверте рукой Н. И. написано: «идиотка из К.».)

...Наконец я увидела и услышала Вас. Это было вчера, 14 апреля на вечере-встрече в Доме литераторов. И мне захотелось поделиться с Вами впечатлением о Вас. Оно примерно такое:

«Проникнутый тщеславием, он обладал той особой гордостью, которая заставляла его говорить с одинаковым безразличием как о своих положительных, так и отрицательных качествах, вследствие чувства превосходства, быть может, мнимого» (Из частного письма).

Ваше превосходство отнюдь не мнимое. Мы привыкли видеть актеров и актрис, вполне «выездных», но, подобно Аркадиной, способных плакать из-за того, что им «не дают лошадей». Вы начали свой рассказ на вечере с того, что Вам захотелось поехать в Буживаль, чтобы посмотреть на виллу Тургенева, — так просто, как мы говорим о желании поехать в Абрамцево, где жил Аксаков.

Когда женщина ищет родственную душу, она ее находит. И я ее нашла, познакомившись с Вашими сочинениями. В «Доме на берегу океана», кажется, Вы вспоминаете об одном певце, который Вам так понравился, что Вам за-

хотелось пригласить его домой. Я тоже, помню, писала письмо Борису Ливанову, тогда еще без конверта, сложенное треугольником, это было сразу после войны...

Но я поняла на этом вечере, что Вы никогда не пришли бы к нам, как к добрым знакомым. Простите мне это письмо.

Валентина Алексеевна Казьмина. Москва

...Вы открыли для меня новую страну — дороги и судьбы эмиграции в Азии. Сразу скажу, что среди моих дедов нет «бывших» — обычные мещане и кустари. Но чем дольше живу я на свете (мне 47 лет), тем отчетливей понимаю, что даже самые яростные белогвардейцы-эмигранты — это часть нашей истории. А уже интеллигенция, уехавшая потому, что уезжали «все», ее духовный потенциал, осевший или растворившийся на Западе или в Азии, — это уж наше кровное...

Два слова о себе. Провинциальный журналист. Трое детей. Две жены (не одновременно, конечно). Много работы. Единственная отдушина — чтение.

Кривоносов Александр Ильич. Воронеж

Дорогая и глубокоуважаемая Наталия Иосифовна!

...начав читать по часу в день, я сказала себе — хорошая эта книга, далее пошло — замечательная книга, далее — удивительная!.. Читая Вашу книгу, я много раз принималась плакать, хотя отнюдь не слезлива, но часто и смеялась над выходками А. А., чувствуя в нем абсолютно родную душу. Этот человек — дрожжи своей науки. И горе той отрасли науки, где нет такого человека. Но, к счастью, хоть и в загоне, но бывают.

Петелина Наталья Николаевна. Казань

...Опишу Вам, как мы, аборигены одной из небольших станций, осенним хмурым утром 1934 года вышли торжественно встречать бывших рабочих и служащих КВЖД.

Годы были для нас тяжелейшие, не хватало пищи, одежды, ютились большинство в домах барачного типа. Накануне нас, учителей, вызвали в соответствующее учреждение и сказали, что завтра мы все организованно выйдем встречать тех, кто вырвался «из лап японского империализма». Написал плакат: «Привет узникам капитала!», и на другое утро мои второклассники с гордостью понесли его на вокзал. Все мы волнуемся, ведь сейчас увидим людей *оттуда*. Откроются двери теплушек, они выйдут изможденные, в лохмотьях, некоторых, может, придется нести на носилках... Ужас!

И вот подходит поезд. Мертвая тишина. Медленно открывается дверь, из нее высовывается голова огромного дога. Ну думаю, собаки (японские, конечно) сожрали всех. В следующий момент появляется молодая дама, хорошенькая кудрявая головка, котиковое манто. Из теплушек выходят элегантные «узники», у многих породистые собаки всех мастей. Держу рот открытым, пока на меня не шикают: убери плакат! Конечно, никаких речей не было, митинг не состоялся. Не те речи подготовили.

В то утро наша станция приняла пять-шесть семей. Судьба их была ужасной... Они рано возвратились. Никого из них нет в живых.

Спасибо за Ваши книги. Без них моя жизнь была бы беднее. Ваши герои — мои самые надежные друзья.

Василий Ермолаевич Поселеннов.
Нурлат Октябрьский Татарской АССР

...Казанский период Вашей жизни как-то очень близко пересекается с моими годами, прожитыми тоже в Казани. Более того, в 1948 году я лежала в Институте ортопедии у Лазаря Ильича Шулутко, и вся обстановка института, ее врачи и сотрудники мне там знакомы. Товий Давыдович Эпштейн, о котором Вы так тепло пишете, был душой института...

Есть еще кое-что общее в нашем казанском периоде жизни. Я имею в виду Ваше восприятие новой для Вас со-

циалистической действительности после возвращения на родину из Шанхая. Дело в том, что мы прибыли в Казань в январе 1940 года первым эшелоном беженцев из Польши. Я так же была восторженна и так же снисходительна к недостаткам нашей жизни, которые сглаживались тогда моим неудержимым оптимизмом, как и Вы. Потом было всякое, но та первая восторженность торчит во мне неисправимо до сих пор...

Мамингер Рахиль Арнольдовна. Пермь

...Я увидела людей, о которых идет речь, услышала их голоса, почувствовала их боль, их радость. И особенно — Вас!.. Мне теперь кажется, что я знаю Вас давным-давно, и странно мне, что я-то Вас знаю, а Вы меня не знаете. Вот до чего дошло дело...

Милая Наталия Иосифовна, спасибо Вам за ту радость, которую Вы доставили мне и многим своей книгой, за то, что Вы вернулись на Родину и у нас стало больше на одного таланта, за то, что Вы пишете и еще напишете.

Людмила Николаевна Ливанова. Москва

Уважаемая Наталия Иосифовна!

Авторам понравившихся произведений никогда не писала, а Вам пишу, потому что в Томышеве я родилась и жила до 18 лет, да и сейчас бываю наездами. Называется село — Старое Томышево, потому, видимо, что позднее появилось новое. С бабкой Давыдовной мы были почти соседи, и я, хотя туманно, но ее помню. Фамилия их была, кажется, Съедугины. Моя бабка (по матери) звала ее колдовкой, и если она вечером пройдет, то считала, что корова мало молока даст. Наши хорошо знают Марью Дмитриевну, Василия Андреевича и Юру. У нас долго хранилось фото, где В. А., Юра и мой дед сфотографированы, потом кто-то у мамы ее выпросил, кажется, те же Съедугины. В вашем доме при фабрике была средняя школа, которую я закончила в 1946 году. Удивляюсь, по-

чему Муся в своем дневнике[1] пишет, что дом дряхлый, даже в мои годы это было очень крепкое здание. Там и сейчас школа. Акчуринская фабрика выпускает сейчас обои, и если Вам придется купить обои фабрики имени Дзержинского, Новоспасского р-на, так это «ваши».

А мой дом, где жила мама и бабушка, стоял не в самом Самайкине. В военные годы пошли мы с мамой менять вещи на картошку в «мордва». Дорога длинная, пустынная, и мне скучно тянуть санки. Вдруг справа от дороги показался дворец из сказки (для меня это был именно дворец, потому что я не видела ничего, кроме изб, крытых соломой). Мама! что это такое? Это, доченька, дом господ Воековых (в деревне «й» упускали в Вашей фамилии). И остальная часть дороги мне уже не показалась скучной... Род Василия Андреевича, кажется, перевелся. Ребят убило на фронте, и вот недавно похоронили тоже дядю Васю. Помню, говорили и о девочке, которая жила у Давыдовны, но сейчас уже спросить не у кого, все поумирали. Мама, правда, жива, она на 7 лет старше Юры. Церкви, куда ходила Муся на исповедь, нет с тех времен когда религия стала «немодна»...

Отвечать мне не обязательно. За ошибки простите, образование у меня техническое, да и с русским языком были нелады.

С уважением и благодарностью

Андреянова Екатерина Петровна.
г. Наманган, Узбекская ССР

...Пишу Вам под впечатлением Вашей «автобиографической прозы» («Октябрь», 1985, № 1). Вещь меня просто потрясла — полной исповедальной искренностью, вызывающей в памяти «Былое и думы», и вместе с тем сдержанностью, даже строгостью, полным исключением интимной стороны отношений. Я читатель-алкоголик, поэтому, кончив «Реформатского», хоть и был оглушен, на-

---

[1] См.: *Н. Ильина.* Дороги и судьбы. М., 1991, глава «Третье поколение» (с. 88—125).

чал механически просматривать номер дальше. Но — странное дело (а может, наоборот, естественное) — даже вполне профессиональный рассказ Каверина рядом с этой кровоточащей правдой показался скучным, надуманным, а уж «ро́ман» почтеннейшего журналиста-международника — чистой воды графоманией.

В облике Реформатского, каким Вы его нарисовали, — сложном, неоднозначном — много по-человечески привлекательного... Но вот насчет политики и того, что надо «дуванить свой дуван», «возделывать свой сад», не отвлекаясь на то, в чем твоего участия не требуется, на то, что ты изменить не в силах, — что ж, позиция хорошо знакомая... Некоторые интеллигенты, придерживавшиеся ее, умудрились даже не заметить (откуда им было знать), что в качестве «удобрения для сада» им предлагался человеческий пепел... Поэтому «наивность» и «ригоризм», с которыми Вы трогали («пытались трогать») в 1952—53 гг. некоторые темы, мне больше по душе, чем профессорская мудрость Вашего многоопытного друга...

Самсон Абрамович Мадиевский. Кишинев

Дорогая Наталия Иосифовна!

Спасибо за книгу, которую я вчера получила.

Спасибо и за письмо, и за все, что Вы написали о «Блокадном человеке». Я радуюсь тому, что нашла столь адекватного читателя. Найти читателя для нас важное дело.

...Получила Вашу книгу и раскрыла ее, присев в парке. У меня есть издание 80 года, так что ряд глав я знаю. Раскрыла главу о Реформатском и зачиталась, даже пробрал меня осенний холод. Как мне знакомы эти непролазные папки! Только я сама скрываю их от посторонних глаз. Люди считают, что у меня порядок, но это злостный обман. Потом я читала еще главу о матери. Это тоже затягивающее чтение. В обеих главах Вам удалось воссоздать человеческую прелесть и необычность тех, о ком Вы писали...

Ваша *Лидия Гинзбург.* Ленинград

...Из всей Вашей книги я многое почерпнула для себя. Мне интересна Ваша необычная судьба и то, как Вы описываете события и встречи: просто и искренне. Эта книга для меня оказалась приятной, интересной, содержательной беседой с человеком умным, много видевшим, немало знающим, щедро делящимся своими знаниями. Благодарю Вас за эту искреннюю, от сердца идущую щедрость.

Я из Ленинграда. Мне за 40 лет. Работаю в Афганистане пять месяцев. Впереди еще полтора года вдали от дома.

Снежина Людмила Владимировна. П/п 79942

Здравствуйте, дорогая мне землячка Наташа!

Я Вас так называю, потому что помню Вас по Шанхаю совсем юной, вечно стремящейся по делам. Я знала, что Вы журналистка, и видела Вас каждое утро сходящей со ступенек на углу Рю Монтабан и Рю де Консуля. Я жила в доме парк-хауз на этом же углу на третьем этаже. Вы мне нравились, т. к. Вы были непохожи на других молодых шанхаек. Я помню Вашу маму, такую русскую и приятную, и почему-то чаще в черной юбке и белой кофточке с жабо кружевным.

Я родилась в 1910 году на ст. Ханьдаохедзы, это К.В.Ж.Д., и мое детство было в этом прекрасном уголке с русскими обычаями и традициями. Детство мое было прекрасное. По семейным обстоятельствам я должна была уехать в Шанхай, представляете себе из провинции 23-летнюю женщину да в таком вертепе, но я быстро нашла знакомых, и они мне помогли, поддержали.

Я помню Олега и Игоря Лундстрем, которые были младше меня на лет 5 или 4, их катал в саночках их папа Леонид Францевич Лундстрем. А Леонид Францевич преподавал у нас физику...

Лидия Петровна Жильцова. Свердловск

...Все в мире на случайности построено, но иногда через нее такая закономерность выглядывает, что удивительно становится. Так вот и с книгой Вашей, что я прочи-

тал с наслаждением, отрываясь только на еду и прогулку с собакой, произошло. И я прошу принять мою глубочайшую благодарность за Вашу искренность, за добрые слова о своей маме (удивительно славно, хотя и «меж строк» она обрисована), за чувства достоинства и благородства, которыми наполнена книга «Судьбы».

Игорь Гаврилович Мямлин. Ленинград

...Пришло твое письмо в нашу снежную берлогу. Ну и холод в этом году! Просидела дома около трех недель, никого не видя, кроме мужа, соседнего фермера (хожу кормить его кошек и собак), а также моих зверей. Да. Уходят друзья, исчезают близкие люди, каждый из них был дорог, неповторим, и вот нет его больше...

На русский Сочельник сделала сама себе кутью (муж не понимает) и засветила лампадку. В Сочельник мама была именинница, и, в каких бы условиях мы ни жили, это был особенный день. Вот я и справила его...

А знаешь, только теперь, сидя в снегу и в молчании, я догадалась: жизнь-то прошла! И когда она успела? Странно и даже возмутительно. У тебя другое: останутся твои писания. Ты сделала в жизни твое главное.

Верю, что еще повидаемся. Но надо торопиться, пока не дошла до нас очередь «бренные пожитки собирать».

Лариса Андерсен. Иссэнжо, Франция

... Спасибо Вам за то, что Вы облегчили мне душу.

«Дороги и судьбы» вот уже несколько недель читаю, как библию в старину, открываю на любом месте и каждый раз вижу что-то другое, новое...

Дифирамбы непрофессионала хороши в микродозах. Хочу выразить свою благодарность в несколько необычной форме. Как я поняла, у Вас есть в Ленинграде родственники. Если им когда-нибудь понадобится стоматологическая помощь, я с удовольствием их полечу.

Еще раз большое Вам спасибо.

Лариса Владимировна Поляк

Когда я пришел в студию на ночное дежурство, меня встретил Левитан. Он был тогда художественным руководителем дикторской группы. Юрий Борисович совершенно неожиданно сообщил, что мое чтение нравится известному лингвисту, профессору Реформатскому: «Он считает Ваше произношение образцовым. Хочет выяснить родословную, чтобы внести в картотеку».

Признаться, я подумал, что это шутка. Левитан любил разыгрывать. Нет, это была не шутка. Действительно, профессор звонил на радио.

Борис Павлович Рябикин,
бывший диктор, ветеран труда

...На географической карте я отыскала неведомую мне доселе Пахру, в словаре нашла фотопортрет Реформатского, на плане Москвы пыталась по Вашему описанию угадать улицу, на которой Вы живете. А как прекрасно было путешествовать по Италии... Конечно, вы умышленно дразните своего старого друга, что он теперь не русский. Он русский человек. Ни француз, ни американец, ни немец не повез бы за границу на свои деньги женщину просто знакомую за просто так.

Людмила Волкова, инженер. Уфа

Дорогая Наталия Иосифовна, спасибо за статью в «Огоньке», пронзительную, доблестную и горькую.

Шлю Вам добрые силы, —

Юнна Мориц

Давно и недоверчиво слежу за Вашими книгами — как и положено 50-летнему читателю, ленинградцу, профессиональному научному работнику. Но все Ваши публикации последних лет, блистательные «уроки географии», полные трепетной любви к литературе, вечной и уходящей культуре, наконец — к Поэту, Литератору, Ученому, Ваши книги вызвали у меня глубокое уважение к Вашему

мастерству, умению создать эпоху, дать читателю счастье побыть вместе с Вами и с каждым из героев — третьим, надеюсь, не лишним.

Показалось мне, что Вы излишне жестоки к себе в Ваших книгах! Ваша жизнь, путь в литературу, умение взглянуть «поверх барьеров» — это и достойно, и урок молодым. И потрясающая способность к развитию, к переменам в Вас есть. Ваш сегодняшний уровень в литературе очень высок, поверьте мне, старому скептику!

Как Вы это наработали в себе, когда? Ваш ум и одновременно — практичность, значит, и склонность к компромиссу в жизни... и такая высокая требовательность в литературе, замечательная стойкость.

Знаете, появление Ю. В. Трифонова на Ваших страницах сделало Вас окончательно не-чужой.

У Вас в Ленинграде есть теперь неожиданный, неизвестный Вам друг

Ефим Борисович Кудашев

Dear Miss Il'ina,

...не могу позволить Вам уехать, пока не расскажу, какое впечатление Вы произвели на мой ум и на мою душу. Понимаю, что я всего лишь одна из тех многих людей, которых Вы тут встретили, но я хочу, чтобы Вы знали, что с первой минуты, как только я Вас услышала, я почувствовала, что меня к Вам тянет, и на каждой лекции это чувство охватывало меня с новой силой. Я была очень взволнована, когда Dr. Barker меня Вам представила. Я испытываю огромное уважение к тому, что Вам и многим людям в Вашей стране пришлось пережить. Ваши рассказы о скитаниях Вашей семьи, о детстве и юности в Шанхае, обо всем, что пришлось вынести, и о судьбах других писателей и людей культуры, которые не выжили, — все это раньше казалось нам невозможным, неправдоподобным. Но после того как мы узнали обо всем от Вас, свидетеля и очевидца многих лет насилия, жестокости и страха, — все стало правдой, которая больно отзывается в сердце.

Я хочу, чтобы Вы знали, что в те дни, когда Вы были с нами, Вы открыли мне красоту русской литературы и поэзии. Дорогая Miss Il'ina, мне так жаль, что Вы уезжаете. Я надеюсь, Вы поймете из моего сумбурного письма, какое для меня было счастье познакомиться с Вами и быть рядом с Вами хотя бы это короткое время. Я хочу вернуть Вам эти чувства.

Спасибо, что Вы приехали в США. И еще хочу сказать, что начала читать Вашу автобиографическую прозу, чтобы Вы не исчезли совсем из моей жизни. *Erin Tomson.*

Dear Ms. Ilina,

Как поживаете? Мы до сих пор Вас нежно вспоминаем и иногда пьем «Маргариту» за Ваше здоровье. Toyoticka в порядке, еще более грязная и еще более старая и старается делать вид, что она «Волга». Это Вы, наверное, на нее так повлияли.

Я пишу работу об Алесе Адамовиче. Dr. Barker мне сказала, что Вы его знаете. Передайте ему привет и скажите, что им тоже интересуются на Западе. Я напишу настоящее письмо сразу же после экзаменов. А сейчас — *всего хорошего* (написано по-русски). С любовью. *Scott.*

Dear Ms. Ilina,

Я приеду в Москву в мае, 30, и останусь до 2 июня. Надеюсь Вас увидеть и что Вы мне покажете московские достопримечательности. Жизнь в университете была совсем не такая интересная с тех пор, как Вы уехали. Нам Вас нехватает.

Я привезу Вам тостер. *Kate.*

Эрин Томсон, Скот, Кейт,
студенты Университета штата Аризона, Тусон, США.
(*Перевела Ольга Лаиль*)

Наталия Ильина

О СЕБЕ



Дружеский шарж Ореста Верейского

ИЛЬИНА, Наталия Иосифовна, литератор. Родилась 19 мая 1914, г. Петербург (ныне Ленинград). Образование: Литературный институт им. А. М. Горького, 1953.

Газета «Шанхайская заря»: литературный сотрудник 1937—39; газета «Шанхайский базар»: редактор 1939—41; газета «Новая жизнь», литературный сотрудник 1942—47.

Казанский Институт ортопедии: стенографистка 1948—49; Литературный институт им. А. М. Горького:

студентка 1949—53; по окончании института работа литературным консультантом в журналах «Крокодил» и «Новый мир», публикация фельетонов в периодической печати. Профессиональный литератор — 1958.

Член Литфонда СССР — 1955, СП СССР — 1958.

Творчество: роман *Возвращение* 1957 (1-я кн.), 1966 (2-я кн.); сборники фельетонов: *Внимание, опасность!* 1960; *Не надо оваций* 1964; *Что-то тут не клеится* 1968; *Тут все написано* 1971; *Светящиеся табло* 1974. Автобиографические повести: *Судьбы* 1980; *Дороги* 1983; *Дороги и судьбы* 1985; 1988 (1991. — *Ред.*). *Белогорская крепость* (сатирическая проза) 1989. В изд-ве «Читатель» (Варшава) на польском языке вышла 1-я книга романа *Возвращение.*

Хобби: коллекционирование грампластинок классической музыки, особенно композиторов-романтиков: Брамса, Шопена, Скрябина, Шумана. Очень любит водить автомашину. Владеет английским языком (в январе-марте 1989 читала лекции студентам Ун-та штата Аризона, США, на англ. яз.); говорит по-французски.

Для журнала «Музыкальная жизнь», 1990

Наталия Ильина

ТИХИЙ ОКЕАН[1]

> Я ехала домой. Душа была полна...
>
> Романс

А еще он называется «Великий». Это понятно, он огромен, но почему «Тихий»? Бушевать и гневаться умеет не хуже других. Он едва не перевернул пароход «Гоголь», увозивший нас из Шанхая. Обогнув Корею, пароход взял курс на Владивосток, а точнее, на порт Находка. Мы плыли не то пять, не то шесть дней и в какой-то из них попали в тайфун. Пишущая машинка внезапно поехала к левому краю стола, чуть не свалилась, я успела удержать, и тут она поехала вправо. Вцепившись в нее обеими руками, я покосилась на иллюминатор. И увидела черное и грозное небо, тут же исчезнувшее, а затем — вздыбленную массу воды. Она собиралась накрыть пароход, но тут качнуло, и снова небо, и опять вода, нет, я туда больше не глядела... Держа машинку левой рукой, указательным пальцем правой я стала ударять по клавиатуре, печатала, героически борясь с подступающей тошнотой, печатала, я обязалась выпустить стенгазету к пяти вечера, я должна ее выпустить, мои помощники (два автора и один художник) не явились, не явятся, значит, газета будет состоять всего из одной статьи, но уж ее я напишу, справлюсь, выдюжу, осилю!

Шли первые дни декабря 1947 года. С Великим (он же Тихий) за пролетевшие десятилетия я не встречалась. И не чаяла встретиться. Тем более не чаяла увидеть его омы-

---

[1] Печатается по: Вопросы литературы. 1994. № 1. С. 221—245.

вающим берега противоположного конца земли, другого полушария.

Здравствуй, Тихий океан. Вот где нам довелось увидеться!

Я гляжу на него сверху, с высокого берега, сидя на удобной скамье. Он не гневен, но и не спокоен, белые гребешки на свинцово-зеленой поверхности, подкатывая к желтому песку пляжа, превращаются в маленькие волны, день ветреный и прохладный, по-майски, по-июньски прохладный, а на дворе — февраль. Берега другие, климат другой. Я в Лос-Анджелесе.

Вниз, на пляж, ведет долгая лестница. По ней только что сбежали Адель Баркер, профессор Аризонского университета, и ее приятель по имени Рон. У меня желания бежать вниз не возникло. Потом ведь подниматься придется по этой лестнице. Был бы тут лифт... Но лифта нет. Быть может, это пляж для бедных? Интересно: есть ли в городе особый пляж для кинозвезд, живущих на Беверли-Хиллс? Волшебные слова, с детства известные. Харбинский кинотеатр «Ориант». Фильм «Маленький лорд Фаунтлерой», мне девять лет, я влюбляюсь в Мэри Пикфорд, позже — в Рамона Наварро, еще позже — в Рудольфа Валентино... Могла ли я думать, что увижу дома, где жили эти боги?.. Но ни домов, где жили прежние боги, ни домов, где живут нынешние, я так и не увидела, хотя Рон возил нас с Адель по улицам Беверли-Хиллс. Мы видели высокие ограды, над ними — крыши вилл и верхушки разнообразных южных деревьев. На мостовых изредка мелькали машины неведомых мне марок, а на тротуарах — ни единого прохожего! Что, впрочем, не удивило меня. В городе Тусон, штат Аризона, где я жила уже две недели, тоже не было прохожих. Кто богаче, передвигался на автомобиле, кто беднее — на велосипеде, а пешком не ходил никто. Этот пляж далеко внизу, где сейчас бродят Рон и Адель, на бедных, вероятно, и рассчитан. Для богатых был бы лифт, а бедные — обойдутся. А кто не обойдется, будет сидеть, как я, на этой удобной, со

спинкой, скамье и любоваться на тебя издали, мой старый знакомец, Тихий океан!

...После того, что я видела в иллюминаторе, желание любоваться Тихим-Великим у меня не возникало, хотя бараки, куда нас поселили в Находке, находились от берега недалеко, километрах в двух, не больше. И прожили мы в этих бараках почти месяц, вплоть до новогодней ночи, а наш тяжелый багаж, выгруженный на берег, так на берегу и остался, и мужчины, ходившие по очереди его сторожить, рассказывали, что океан тих, благостен и синь, отражая безоблачное небо, я уже его видела таким, когда мы пришвартовались, когда мы входили в порт по синей глади вод, весь декабрь океан был тих, а небо безоблачно, и красивы были на фоне этой голубизны шедшие из труб бараков дымки, окрашенные в розовый цвет всходившим солнцем, а кругом белым-бело от снега, но не радовало глаз это сочетание цветов, было ощущение неуюта, бездомности, казалось — нас высадили на необитаемый остров, нигде не видно человеческого жилья, на горизонте скалы, покрытые снегом, но это временно, временно, мы скоро увидим Россию...

Интересно бы вспомнить, что я тогда насочинила в салоне парохода, левой рукой держа машинку и печатая одним пальцем правой? Каков был результат этих героических усилий? Результат был. Маленькая, в муках рожденная статейка, играя роль стенгазеты, была вывешена для всеобщего обозрения, ее, конечно, никто не читал. До того ли было пассажирам «Гоголя», число которых значительно превышало возможности парохода, тесно было в каютах, а трюм напоминал иллюстрацию к «Хижине дяди Тома» — невольников везут на плантацию... Зачем же я так старалась? А вот внушила себе, что стенгазета необходима. Из советской печати было известно, что жители СССР то и дело выпускают стенгазеты. Ни один праздник, ни одно мало-мальски значительное событие без стенгазеты не обходятся. А возвращение на родину — это ли не событие?.. Я его и воспевала. Благодарила советское правительство и

лично товарища Сталина за то, что нас допускают на землю отцов. Перед которой мы все виноваты. Одни с оружием в руках сражались против своего народа, другие, убоявшись испытаний, выпавших на долю отечества, трусливо бежали из его пределов, а третьи, увезенные младенцами или родившиеся на чужбине, виноваты уже тем, что росли и воспитывались вдали от родины. Ведь СССР — не только родина. Это единственная в мире страна, построившая социализм, и правильность избранного ею пути доказала победа в войне. Советские люди — особая порода людей, и тем, кто вырос не там, воспитан не так, следует приложить все силы, чтобы дорасти до советского человека. Подражая этому человеку, не мыслящему жизни без стенгазет, я и старалась подарить стенгазету пассажирам «Гоголя», мужественно борясь с разъезжавшей туда-сюда машинкой, мужественно одолевая тошноту, мужественно не глядя в иллюминатор. О своем героизме я вскоре расскажу в письме к матери, отправленном из Находки. «...Обязалась выпустить стенгазету, и я ее выпустила, мамочка, чувство долга помогло мне избежать морской болезни, а тайфун был страшный, наш пароход посылал сигналы „СОС"...». Откуда мне было известно, что пароход молил о спасении наших душ? Не приврала ли я для красного словца? Всегда любила приврать, чтобы сделать свой рассказ либо пострашнее, либо посмешнее. А тут тем более трудно было удержаться, пароход сильно качало, пассажиры страдали, кто в трюме залег, кто в каюте, а я, в просторе салона, мужественно борясь с недомоганием... Вернувшись в Москву, разыщу это письмо, оно где-то есть, мать хранила все мои эпистолы, но вот стенгазета, из моей статейки состоящая, невосстановима. Помню, что я цитировала там волновавшие меня стихотворные строчки Георгия Адамовича: «Когда мы в Россию вернемся, о Гамлет восточный, когда? Пешком, по размытым дорогам, в стоградусные холода...». Цитировала, хотя не понимала, при чем тут Гамлет, да еще и восточный. И радовалась: мы увидим, увидим Россию! И благодарила со-

ветское правительство. Но о щедрости его вряд ли упоминала...

О какой щедрости речь? А вот о какой. Осенью 1947 года из Китая на родину устремилось две с половиной тысячи семейств. Советское правительство взяло на себя все расходы по их путешествию. В какую сумму это обошлось, мне неведомо, но надо думать, в сумму огромную. А в стране, куда нас везли, десятки тысяч семейств остались без хлеба и без крова!

Поразительно: годы и годы вопрос — а зачем понадобилась эта щедрость, это расточительство — не приходил мне в голову. А ведь я знала, что были среди нас люди состоятельные, способные оплатить не только свои расходы по переезду, но и взять на свой счет еще несколько человек. Они, богатые, это предлагали, но их помощь была отвергнута. Я никогда не задумывалась над тем, какие же мотивы заставили правительство разоренной страны гордо отказаться? А тут, сидя на чужом высоком берегу, глядя на Тихий океан, я увидела перед собою лица давно позабытые, лица тех, с кем судьба столкнула меня на пароходе. И прежде всего — Пашку Глухова и Василия Петровича Силина. Почему именно их? А потому, видимо, что они как бы олицетворяли собою два полюса шанхайской эмигрантской жизни того времени.

Силина, человека средних лет, преуспевающего дельца, возглавлявшего уж не помню какое предприятие, я немного знала по Шанхаю. В годы войны он обратился в советское консульство с просьбой о гражданстве. Паспорта мы все получили лишь в сорок шестом году, но до этого самые из нас активные были приняты в Клуб граждан СССР и старались, кто чем мог, заслужить возвращение на родину. Силин заслуживал щедрыми пожертвованиями. Не знаю, куда и сколько он жертвовал, знаю лишь, что частично содержал газету «Новая жизнь». Ну и конечно, внес немалую сумму в строительство Спортивного клуба. Который новоиспеченные советские граждане построили своими руками. Всего, кажется, месяцев шесть понадоби-

лось этим энтузиастам, чтобы воздвигнуть на китайской земле просторное деревянное строение. А летом сорок седьмого на зеленой площадке перед новым клубом советский консул Ф. П. Халин прочитал нам Указ Верховного Совета: двум с половиной тысячам семей разрешалось ехать на родину. Был вечер, горели прожекторы, многие плакали от радости и умиления. В августе Шанхай покинула первая группа. 30 ноября — последняя, пятая. Я была в этой последней, а нашим старостой назначили В. П. Силина. Кто назначил? Консул? Во всяком случае, кто-то из «старших товарищей» — так мы называли командированных из Москвы. Приятное немолодое лицо Силина я, таким образом, видела не раз, задолго до нашей встречи на пароходе.

А Пашку Глухова мне кто-то показал уже во время пути. Он сразу прославился тем, что ехал безо всякого багажа. Гол как сокол в буквальном смысле этого слова. Впервые на пароходе я увидела эту длинную шею с кадыком, немытую физиономию, блондинистые вихры. Молод — лет 25, — облачен в потертую куртку, а под нею — чуть ли не голое тело, рубашки не угадывалось. Взгляд живой, смышленый. Чем он занимался в Шанхае? Нищенствовал? Подворовывал? Бог весть.

Почему ж нельзя было позволить Силину и тем, кому это было по карману, ехать за свой счет и бедным помочь? Лишь спустя много лет я задала себе этот вопрос. Близко познакомившись за пробежавшие десятилетия с нравами своего отечества, я легко нашла ответ! Ступив на борт советского парохода, мы попадали в страну, где бедных отменили. Их при социализме быть не должно. А если они все-таки попадались, то заботу о них брало на себя государство. Достоинство советского человека не может быть ущемлено помощью частного лица.

В Шанхае Василий Петрович Силин занимал прекрасную квартиру, а Пашка ночевал где попало. На пароходе они очутились в равных условиях. Ах, впрочем, нет! Равные условия были впереди — бараки Находки. А на паро-

ходе дистанция еще соблюдалась — Василий Петрович с супругой помещались в каюте, а Пашка — в трюме.

И я помещалась в каюте. Вместе с семьей шанхайского ювелира, тоже известного своими широкими пожертвованиями. В первый же вечер пути я спустилась в трюм посмотреть, как там людям живется. Людям там жилось очень плохо. Сидели на чемоданах либо на полу, что-то подстелив. И слышались раздраженные голоса. И плакали чьи-то дети.

Что ж получается? Я, молодая, здоровая, имею в своем распоряжении целое лежачее место, а тут, внизу, старики, старухи и... Да еще и беременная женщина! Я тут же объявила, что готова обменяться с нею местами и сейчас побегу в каюту собирать свои вещи... Но кто-то сказал: надо об этом уведомить нашего старосту Силина. Я помчалась наверх уведомлять Силина. Тут и увидела его вместе с супругой в приятной двухместной каюте. Силин сказал, что мой порыв весьма благороден, однако без разрешения «старших товарищей» обмен невозможен. Сопровождавшие нас «старшие товарищи» были военные, тогда я не знала, каких войск, теперь-то знаю... А чинов их я не знала ни тогда, ни теперь. Доставив нас на землю отчизны, они навсегда исчезли, и наружность их в памяти не отложилась. Когда я вошла, оба сидели за столиком у иллюминатора и пили чай из стаканов с подстаканниками. Мое появление встретили словами:

— В чем дело?

Гордясь собой, я стала объяснять, в чем дело, однако сникая под суровыми взглядами повернутых в мою сторону лиц.

— Беременная, — бормотала я, — ее муж сказал, на седьмом месяце, ей вредно... она...

Перебили:

— Вас это не касается. Вам где назначено быть? В каюте номер такой-то? Туда и идите!

Кто «назначил»? Не эти же двое, видевшие нас всех впервые! Значит — шанхайские «старшие товарищи».

Консул, например. Или директор ТАСС. Или еще кто-нибудь, за нашим поведением следивший. А мое поведение заслуживало всяческих похвал. С первого месяца войны и по день отъезда из Шанхая я написала множество фельетонов и публицистических статей для газеты «Новая жизнь». В фельетонах я сражалась с врагом внешним, а также с внутренним — ретроградно настроенными эмигрантами, свой антисоветизм не преодолевшими, а в статьях воспевала свое неведомое отечество, убежденная в том, что мне в нем все ясно. Ясно, к примеру, то, что это единственная в мире страна, где труд — не наказание, а смысл жизни, и где никогда не будет экономических кризисов, ибо они — результат непомерной жадности хищников. «Советский человек знает, что бич безработицы никогда не хлестнет его по спине!»... «Чувство собственного достоинства, свойственное человеку социалистического общества, вызвано тем, что он работает не на хозяина, а на свое государство, на страну, а значит, на себя!»... Одна из таких восторженных статей была озаглавлена так: «Звезда над миром зла». «Звездой» я называла нерушимый союз свободных республик во главе с отцом народов...

Противоречивые чувства владели мною, когда я шла по узкому коридорчику, направляясь в каюту, к своему месту. Которое, выходит, я заслужила. Которым, выходит, меня наградили. И это было лестно, это радовало — ах, всегда я была падка на лесть! А с другой стороны: ведь я обещала свое место беременной женщине и ее мужу — что я им скажу? Так и скажу: запретили. А они не поверят. В самом деле, трудно поверить, что взрослому человеку запретили распорядиться тем, что ему, казалось бы, по праву принадлежит. Я пыталась отказаться от своей привилегии — меня и слушать не пожелали! «Все! Идите!» Военный, эти слова произнесший, уже и не глядел на меня, я ему надоела, помешивал чай в стакане, а за окном иллюминатора — черная ночь, стаканы по столику не ездили, лишь ложки позвякивали, ты был спокоен в первый вечер нашего знакомства, Тихий океан, ты начнешь бушевать

позже, на второй день, на третий?.. Не помню. Во всяком случае, тогда, когда, устроившись с машинкой в салоне, я решила погибнуть, но стенгазету выпустить, этим, что ли, я надеялась отдать свой долг пассажирам, страдавшим в трюме?

В гневе ты был страшен, Тихий океан, но и успокоившийся, тихий, гладкий чем-то отталкивал, чем-то пугал... Берег, к которому мы подплывали, состоял из сплошных скал, покрытых снегом, мы высыпали на палубу, приближалась земля России, но это не было похоже на Россию, а похоже на необитаемый остров, дул ледяной ветер, мы подходили все ближе, на берегу, на снегу обозначились черные фигурки — остров обитаем, люди на нем есть. Но не покидало чувство бездомности, бесприютности, негде укрыться от зимнего ветра, и оставь надежду сюда входящий... Слепило глаза от белизны и синевы, а ты, океан, был частью этого пейзажа, величественного, ледяного и безнадежного, поэтому и не возникало у меня желания вновь тебя увидеть, и лишь спустя много лет, попав на другой конец света...

В первом же письме к матери из Находки я восклицаю: «Красиво и сурово, джек-лондоновский вид — свинцово-зеленое море, сопки, покрытые снегом. Холодно. Всего 11 градусов мороза, но открытое море, ветер. А вообще, мамочка, все хорошо, ведь я еду в страну, где от энергии, активности и труда человека зависит все!».

А в следующем письме: «Живем мы тут без особых удобств, но прилично. Летом здесь, должно быть, превосходно, а зимой не так уж весело. Старикам и детям наша жизнь в бараках все же тяжела, и я рада, что тебя здесь нет. То, что для тебя было бы нелегким путешествием, для меня — интересное приключение. Морально чувствую себя прекрасно. Верю в социализм! Верю в себя!»

Разделив нас на группы по двадцать — пятнадцать человек в каждой, нас вселили в бараки, деревянные, сравнительно светлые, с двухъярусными нарами, в передней — печка-плита. Прежде тут жили японские военно-

пленные, куда-то вывезенные. Но группа, в которой я очутилась, попала в такой барак лишь на следующее утро, и после мучительной ночи, проведенной в брезентовой палатке, новое жилье показалось нам вполне приличным.

До сих пор мне неведомо, почему один из бойких молодых людей, нас встретивших и нас расселявших, поместил нашу группу вместо деревянного барака в палатку, которую, ввиду ее конусообразной формы, следует назвать юртой. А на дворе ночь, а куда делись остальные группы, мы не знали и могли думать, что других помещений, кроме юрт, в этой джек-лондоновской Находке и вообще не бывает! Глухие брезентовые стены, на потолке дыры, заменявшие окна, в них глядело черное небо, земляной пол, в центре — печка-буржуйка с коленчатой трубой.

— Располагайтесь! — гостеприимно предложил нам молодой человек, посоветовал затопить печку, дрова тут есть, запереть дверь (дверь была деревянная, с замком) и никому ее не отворять.

— Как бы ни стучали — не открывайте! — после чего исчез, оставив нас в оцепенении. Но вскоре послышались возгласы:

— Да что это такое? Да куда это нас?.. Свечи, свечи есть у кого-нибудь?..

В потемках шарили в чемоданах, свечи у кого-то оказались, были извлечены (две толстые стеариновые), зажжены, осветили бледные, испуганные лица и деревянные нары по бокам, где нам следовало располагаться. Затрещали дрова в буржуйке, кто-то не растерявшийся сразу кинулся ее топить. Этим «кем-то» оказался Пашка Глухов. Ни смятения, ни испуга не было на лице молодого подзаборника, напротив — законная гордость! На пароходе от него шарахались, а тут он оказался не только уместен, но и всем нужен. Сидя на корточках у буржуйки, растопил ее умело, быстро. Вот-вот начнет раскаляться, к ней уже протягивались замерзшие, застывшие ладони, хотя казалось, что с этими дырами в потолке топить вообще не имеет смысла! Женские рыдания. Чей-то крик:

— Силина, Силина надо разыскать!

— Где вы его ночью найдете?

Никто, конечно, не раздевался, не разувался. Одни, прижавшись друг к другу, уселись на нарах с ногами, другие попытались там улечься, а кому-то и поспать удалось, ибо среди разнообразных звуков, наполнявших юрту в ту зимнюю ночь, слышался и храп с посвистываниями...

А я сидела у буржуйки вместе с поддерживающим огонь Пашкой Глуховым. Он на корточках, я на чемодане. Гордилась собой: ничем не выдала своего испуга, своей растерянности. Была бодра и всех утешала: ничего, ничего, завтра, я уверена, нам дадут другое помещение, а уж эту ночь как-нибудь... Показывая пример рыдающим женщинам, вызвалась дежурить первой. Наш Вергилий предупредил: вокруг бродят преступные элементы, могут, польстившись на наши чемоданы, взрезать брезент палатки, а значит, кому-то следует дежурить не смыкая глаз. Вот я и не смыкала, сидя около печки, рядом со свечой, на что-то прилепленной. Круг света около, потонувшие во тьме нары, я озиралась, с ужасом ожидая увидеть огромный нож, пропарывающий брезент палатки, однако в этой тьме увидеть нож возможности не было. Да и услышать тоже. Рыданья не прекращались, одна слабонервная замолкала, начинала другая. Я их так мысленно и называла — «слабонервные». И хвалила себя. Я молодец. А ведь войдя в эту юрту, уместную на жарких степных песках, но не на ледяных просторах, тоже оцепенела от страха. Мгновенно вспомнилось все то ужасное, что я слышала и читала об СССР, такое ужасное, что поверить всему этому было невозможно. Впрочем, «во все это» я не вслушивалась и не вчитывалась — политика не интересовала меня, некогда было на нее отвлекаться, свою жизнь следовало устраивать, на поверхности удерживаться, рук не опускать, а иначе ничего не стоило на улице очутиться... Но грянула война. Защитниками русской земли становятся большевики, значит, надо быть с ними, всем, чем возможно, им помогать, их любить, понять, во что они верят,

и самой в это поверить. Чем я в военные годы и занималась. И убеждена была, что никаких сомнений не испытываю. Но в глубине души, на самом ее донышке, — испытывала, откуда иначе было взяться этому страху, вспыхнувшему той ночью в юрте? Но я одолела его, превозмогла. Громко всех утешала: ничего, ничего, потерпим! Нас завтра же переселят!

И в самом деле: переселили. Мы попали в деревянный барак, светлый, с нормальными окнами, с двухъярусными нарами, с печкой-плитой в передней, с запасом дров. Печку мы постоянно топили, и было тепло. Вот я и назвала наши условия в письме к матери «очень приличными».

А страх? Это пронзительное, сжимающее сердце чувство, испытала ли я его еще во время нашего долгого странствия? Да, да. Позже. На какой-то станции под Иркутском, где остановился состав из вагонов, на иностранных языках именуемых «телячьими», а на русском — теплушками, в которых мы ехали. И был вечер. И мы, как всегда, не знали, ни где стоим, ни сколько простоим. А последнее знать было особенно важно: успеем ли, выскочив наружу, найти укромное местечко, чтобы...

Стук в дверь, голос гонца, посланного начальником эшелона, — я этого начальника в глаза не видела!

— В баню пойдете! Соберите вещи, белье чистое!

К тому времени мы ехали уж не помню сколько суток, четыре полки — две верхних, две нижних — во всю ширину вагона, справа и слева, на трех — люди, по семь человек на каждой, на четвертой, нижней, — вещи; спали не раздеваясь, в центре — буржуйка, дежурили, поддерживая огонь круглосуточно, топливо добывали по дороге, во время остановок, тащили все, что под руку попадется, главным добытчиком и истопником был Пашка Глухов, ему помогали все те, кто помоложе и пободрее.

А были среди обитателей нашей теплушки и такие, от кого проку никакого! Например — известный в Шанхае художник и его жена. Вспоминая их теперь, спустя много лет, мне кажется, что они как сели на нижнюю полку слева

от входа, так и сидели, прижавшись друг к другу, с места не двигаясь, обида и недоумение застыли на их худых, запыленных лицах, я осуждала эту пару, могли бы протирать лицо и руки одеколоном, он был у них, вполне состоятельные люди, хотели ехать за свой счет... Не помню, чтобы хоть раз видела жену художника без меховой шапки, никогда ее не снимала! Обида и недоумение. Но после приглашения в баню с вещами я увидела на лицах этих двоих — ужас. Испугались? Чего? Радоваться надо было. Наконец-то вымоемся, белье сменим, грязное простирнем! Художник с женой в баню не пошли. И еще кто-то, не помню кто, не пошел. Но многие пошли. И из нашей теплушки, и из других. Некто, посланный нас сопровождать, велел построиться парами, женщины впереди, мужчины сзади, и повел нас, освещая путь ручным фонариком. Тропинка, справа и слева снега, далеко впереди — огоньки какого-то селенья, слышен лай собак.

— Женщины! Давайте входите!

И мы вошли. В полутемное, теплое, наполненное паром помещение. А следом вбежали две старухи в синих мокрых халатах, две ведьмы, в руках палки, на них нанизаны крупные железные кольца, их стали нам швырять, как серсо, покрикивая:

— Одежу снимайте, быстро, быстро! Держи кольцо! Одежу сюда проденешь! Быстро! А мы в ответ:

— Зачем?!

— В прожарку! Быстро!

Слово «прожарка» я услышала впервые. Другие, полагаю, тоже. Испуг на всех лицах. Но — что делать? Бежать? Деваться нам отсюда некуда, будь что будет, мы стали покорно разоблачаться, понукаемые ведьмами: быстрей, быстрей! Не знаю, что думали мои спутницы, но в моей голове проносились безумные мысли такого рода: а вдруг никакой бани не будет, это только предлог, чтобы нас сюда заманить, заставить раздеться, отобрать вещи и... убить? Убивать нас, голых, беззащитных, будут вот за этой дверью, где якобы баня! Не то трое, не то четверо из

8. Заказ № 718.

нас, тоже, несомненно, ожидавшие гибели, раздеться не пожелали. Уселись на лавку у стены и заявили, что с места не тронутся. Ну а мы с замиранием сердца ступили в соседнее помещение, где стеной стоял пар, было жарко, на скамейках — ковши и цинковые тазики с ручками, и чей-то веселый голос крикнул:

— У них эти тазики шайками называются!

Все оживились, мы — в бане, никакого обмана, и уже весело терли друг другу спины (мыло принесли свое!) и поливали друг друга горячей водой. А затем благополучно получили назад свою одежду, заодно выяснив у старух, что «прожаркой» называется «санитарная обработка». И совсем они не были похожи на ведьм, эти старые женщины в синих халатах... И было стыдно своего страха. И мы громко жалели тех, кто не рискнул ступить в соседнее помещение: «Ну чего вы испугались? Было так хорошо!». А вернувшись, жалели жену художника, по-прежнему неподвижно сидевшую не снимая своей меховой шапки...

А попав в Находку, я не только в юрте, я еще раз испытала приступ страха. В самое, казалось бы, неподходящее время: страна готовилась к очередным выборам, и мы, вчерашние эмигранты, получили право вместе со всем советским народом принять участие в голосовании. О чем нам торжественно объявил Уполномоченный, ежедневно откуда-то приезжавший и проводивший несколько часов в бараке с вывеской: «Штаб репатриантов».

Сколько же их было, этих одинаковых деревянных бараков? Не то двенадцать, а не то и двадцать. Стояли в два ряда напротив друг друга, между ними — утрамбованная дорожка, похоже на коротенькую деревенскую улицу, заброшенную в снежные просторы. Идешь по дорожке — справа и слева снега, на горизонте — сопки. О твоем присутствии, океан, напоминал иногда поднимавшийся ветер, чье дуновение «свежо и остро пахло морем», но, бывало, ветер доносил нам и иные запахи. Улочка вела к широким и низким деревянным строениям с намалеванными на них буквами «М» и «Ж». Вела, но не упиралась в них: два по-

следних, крайних барака от этих строений отделяло метров сто пятьдесят, если не двести.

Было ли в бараках электричество? Не помню! Зато хорошо помню, что первую ночь в нашем новом жилище я дежурила при свече. И перечитывала «Рубку леса» Толстого. А книга откуда? С собой везла. Куда б я ни ехала — вечно таскаю с собой книги... Минуточку! С чего это я, продежурив первую ночь в юрте, вновь уселась дежурить? А потому, конечно, что стремилась доказать окружающим и, главное, самой себе, что дух мой бодр и никакие испытания его не пошатнут. Мне очень помогал Юра С. В Шанхае мы были знакомы отдаленно, сблизились, подружились лишь незадолго до отъезда. Нас сплотила вера в социализм и неизбежное торжество коммунизма. Выпускник тяньцзинского католического колледжа, Юра английский язык знал лучше, чем родной, русская литература в его жизни никакой роли не играла, и стремился он не в Россию, а в страну, первой решившуюся на беспрецедентный эксперимент...

«Манифест коммунистической партии» Юра мог бы продекламировать с любого места. Убеждена, что он, не в пример мне, никаких сомнений, никаких страхов не испытывал, тверд как гранит. Мы с ним стыдили слабонервных и хныкающих, напоминая им, какие бедствия только что вынесла наша родина, пока мы отсиживались за границей. Наша твердокаменность и стремление поучать многих раздражали. Меня бы сейчас тоже раздражали...

Итак, все должны были дежурить. О чем мы узнали в первое же утро не то от Силина, не то от Уполномоченного. Женщины поочередно дежурили еженощно в бараках, охраняя сон спящих, а мужчины на берегу, сторожа наш тяжелый багаж, стоявший под открытым небом. Вот мы с Юрой, попав в один барак, сразу же взяли на себя инициативу, начали составлять списки дежурных, вызывать добровольцев, стыдить уклоняющихся... Мужчины дежурили попарно и сменялись каждые два часа. Пожилые и немощные были от этих дежурств освобождены. Выдер-

жать два часа на морозе и здоровым было тяжело, а мы проторчали в Находке целых три недели, и кто-то из дежурящих простудился и захворал. Не помню, кто это был и что с ним случилось дальше, помню лишь... Боже мой, какая нелепица, какая чепуха! Как же мне раньше не приходило в голову, что эти дежурства — бред, бессмыслица, издевательство! А ведь еще совсем недавно, в книге «Дороги и судьбы», рассказывая о пребывании в Находке, я чрезвычайно серьезно сообщила читателям, что тяжелый багаж (сундуки и огромные ящики с мебелью) стоял на берегу «под охраной наших мужчин, дежуривших по очереди». Интересно, что бы эти дежурившие стали делать в случае опасности? У них не только оружия — у них свистка с собой не было! Стоило бы «преступному элементу» захотеть... Но откуда ему было взяться, этому элементу? Не только покуситься на наш багаж, но и ступить на территорию нашего барачного лагеря никто посторонний не смог бы! Подумать только, что лишь сейчас, спустя годы и годы, до меня дошло: мы же находились под надежнейшей охраной: Министерство государственной безопасности простерло над нами свои «совиные крыла». То ли затем, чтобы нас, едва мы ступили на землю отчизны, приучить к дисциплине, были кем-то придуманы эти дежурства, то ли еще зачем-то, но так или иначе это была игра. Поверить в которую, принять ее всерьез могли только мы, с нашей нездешней инфантильностью...

Самое трудное время — предутреннее. Будят в пять утра, сидеть до восьми, когда все начнут вставать. С трудом поднимаешься со своего расстеленного на нарах ватного одеяла, ополаскиваешь лицо холодной водой — в передней примитивный умывальник, там же топится печка-плита. Тепло, горит свеча, открываю книгу. Слева от меня — нары (десять мест внизу, десять — наверху), отгороженные друг от друга фанерными перегородками, все разместились, некоторые занавесили свое место простыней... Потрескивают дрова в печке, на нарах дышат, храпят, а где-то и шепчутся. Внезапно раздается звук струйки

воды, звенящей о железное донце. Сразу ли я догадалась, в чем дело? Кажется — сразу. Впервые услыхала этот звук из-за простыни, занавесившей нары, где помещались известный в Шанхае врач и его жена. Предусмотрительные люди: захватили с собою в путешествие ночной горшок. Будто знали, что без него не обойтись! И молодым нелегко прошагать морозной ночью двести метров, добираясь до «М» и «Ж», а пожилым совсем невмоготу. Вскоре выяснилось, что не одна только эта супружеская пара была столь предусмотрительна, были и другие, запасшиеся ночными посудинами, мне не раз приходилось видеть...

«Сырока страна моя родная...»

А это почему вдруг зазвучало в ушах? Ну да, это пели японские военнопленные в первое же утро нашего вселения в деревянный барак. Нет, не утром, а позже, уже под вечер. Этим мы Силину обязаны. Ему удалось как-то объяснить Уполномоченному, что мы с непривычки не справимся с чисткой сортиров. Дыры в обоих сортирах (в каждом по десять?) были закрыты пирамидами замерзшего кала. Как быть? С этим вопросом Силин обратился к Уполномоченному, а тот будто бы сказал — вот пусть ваши ребята и займутся, а Силин ему... Нет, я при их беседе не присутствовала, не знаю, какие аргументы подействовали на Уполномоченного, так или иначе высокий, представительный Силин, в своей подбитой енотом шубе, проявил настойчивость, и Уполномоченный дрогнул и сдался. Вот вскоре до нас и стали доноситься звуки песен, сперва из одного строения, затем из другого. После «Сырока страна...» японцы хором исполнили «Выходира на берег Катюса...». С заданием справились прекрасно, не только освободили дыры, но вымыли помост и полы, продезинфицировали все это какой-то химией (хлоркой?), после чего, построившись парами, промаршировали по нашей одинокой улице с песней «Смеро мы в бой пойдем...». Свернули направо, в сторону океана, и исчезли из наших глаз... Ну а как мы жили, как обходились, пока шла работа над сортирами, где отыскивали укромные местечки, —

бараки-то стояли в чистом поле! — не могу вспомнить, не могу вспомнить! Вот тогда-то, думаю, и были извлечены из чемоданов горшки теми, кто их с собою захватил, и они стали играть заметную роль в нашей жизни.

Сначала их стеснялись, потом стесняться перестали. О, эти незабываемые утра в нашем репатриантском лагере, эти розовые дымки из труб бараков, синева неба, белизна снегов и оживление на единственной улице — кто-то идет в сторону сортиров, кто-то идет оттуда. По дороге раскланиваются: «Доброе утро!» — «Здравствуйте!». Или с легкой насмешкой: «Здравия желаю!». У некоторых в руке горшок. Этими «некоторыми» были в основном немолодые мужчины, среди них — люди, в Шанхае известные: врач, ювелир, инженер-строитель, юрист — владелец нотариальной конторы, владелец булочной на авеню Жоффр... Приветствуя друг друга, приподнимали меховые шапки, специально купленные перед отъездом, — в шанхайском климате подобные головные уборы не требовались. Шапка приподнималась левой рукой, правая — занята горшком. Одни шли опорожнять посуду, другие возвращались с опорожненной. Дам с горшками не припомню. Мужья рыцарски освободили своих жен от этой повинности...

Затем улица пустела. Население, как-то умывшись, завтракало. На одном из бараков вывеска: «Столовая». Внутри вместо нар — длинный стол и стулья, на плите — огромный бак, утром в нем кипятилась жидкость под названием «кофе», позже — жидкость под названием «суп». На столах — тарелки с накромсанным хлебом. Утром столовая почти пустовала. Желающих пить казенный «кофе» было немного. Все репатрианты, за исключением совсем неимущих, привезли с собою консервы, бисквиты, шоколад, пачки чая и растворимый кофе. Забегали в столовую лишь за хлебом, за сыроватым, плохо пропеченным серым хлебом, удивляясь его вкусу. Старики помнили, а молодые знали по рассказам, что русский хлеб славился на весь мир...

В середине дня народу было больше, жидкость с плавающими в ней листками капусты и на второе — безвкусная каша, не помню, из какой крупы, — это, как-никак, горячее питание. К тому же наше пребывание в Находке затянулось, запасы привезенной еды подходили к концу. Уполномоченный разрешил нам бегать на рынок, где можно было купить замерзшее молоко в кусках, варенец, бублики, иногда масло... А деньги мы брали откуда? Очень просто: продавали на том же рынке свои носильные вещи. Рынок был от нас довольно далеко, километра два или три?.. Нет, не вспомню. Единственное место, где мы общались с местным населением. Где оно проживало, это население? Где-то поселок должен был быть, но я в глаза этого поселка не видела... 30 декабря нам объявили, что завтра наконец подадут вагоны и мы покинем опостылевшую Находку и в дорогу получим «сухой паек». Откуда-то было известно, что кроме селедки и сухарей ничего в этом пайке не будет, и мы с Юрой и еще несколько человек побежали на рынок продать то, без чего можно обойтись, и купить еды в дорогу. Но «без чего можно обойтись» было уже раньше продано, я решила расстаться с парой вполне приличных туфель, Юра — с двумя рубашками, хотел еще и свитер продать, но и без свитера вырученных денег нам должно было хватить надолго, местные жители нас обступили, сами выкрикивали цены, которые готовы дать, вещи просто рвали у нас из рук, мы были потрясены этим энтузиазмом, этим успехом, неожиданно большой суммой, нами полученной, радовались, веселились, пока не выяснилось, что на нашу крупную сумму купить почти ничего нельзя, все неслыханно вздорожало... Шли первые дни действия сталинской денежной реформы, о чем мы не ведали, а Уполномоченный забыл нас предупредить. Спохватившись, пытался нас удержать, послав на рынок гонца, тот прибежал, но уже было поздно...

А в бараке с вывеской «Штаб репатриантов» вместо нар — огромный письменный стол с ящиками, стулья и навсегда застывшее облако табачного дыма — заседавший

за большим столом Уполномоченный беспрестанно курил. Курили и посетители. Не курил лишь Силин, тоже ежедневно принимавший репатриантов с их жалобами и вопросами. Всегда бодр, вежлив, улыбчив, подбодрял, утешал. Почему мы тут застряли? Капризы погоды, снежные заносы, движение поездов затруднено. Говорят, мы отсюда в теплушках поедем, неужели правда? Не совсем. Старики, матери с малолетними детьми, беременные и хворые будут отправлены обычными вагонами. Увы. Страна с ее послевоенными трудностями всем такую возможность предоставить не может. Упоминание «послевоенных трудностей» нужное действие оказывало — люди вздыхали и смиренно замолкали. Однако не все. Были и такие, кто не смирялся. Помню одного сравнительно молодого человека, кричавшего:

— Значит, выходит так: жена с ребенком и тещей едут от меня отдельно? А ведь я им в дороге буду нужен, как они без меня? Мы же не просили бесплатно, мы хотели заплатить!

На это Силин (который тоже хотел заплатить!) лишь с грустной улыбкой развел руками, а Уполномоченный стал разъяснять, что наше гуманное правительство взяло на себя все расходы по отправке репатриантов, за что следует быть благодарными, и никаких исключений тут быть не должно. Судя по терпеливому тону, каким говорят с малоразвитыми, было ясно, что этими разъяснениями Уполномоченному приходилось заниматься не однажды. Этот маленький, юркий, чернявый человек в неизменной стеганке, в сдвинутой на затылок шапке-ушанке, впервые в жизни, полагаю, столкнулся с людьми «оттуда». Вчерашние эмигранты, вчерашние враги! В годы войны проявили патриотические чувства, запросились на родину, приказано — встретить, разместить, накормить, отправить в глубь страны. Ответственнейшее задание! Огромное доверие было оказано Уполномоченному — ведь и шпионы могли просочиться в порт Находка под маской патриотов... Убеждена, что первая, прибывшая еще в августе, группа пора-

зила Уполномоченного. Он никак не ждал увидеть прилично одетых, благополучного вида людей, с хорошими чемоданами и большими ящиками тяжелого багажа, — некоторые приезжие мебель с собой везли и даже — рояли! Куда багаж? На берег, под открытое небо, складов тут не приготовлено. Куда людей? В бараки, другого жилья тут нет. Я не думаю, что Уполномоченный испытывал злорадство, наблюдая за вселением приезжих и слыша, как рыдают некоторые из вселяемых женщин. Быть может, звонил начальству: дескать, приезжие недовольны. А ему в ответ: «Обойдутся! Проводите воспитательную работу!».

Он не был дурным человеком, наш Уполномоченный. Передал мне записку от братьев Лундстрем, проехавших Находку осенью, в составе третьей группы: «Едем в Казань. Просись туда же!». То, что я эту записку получила, тогда мне казалось совершенно естественным. А теперь, спустя много лет, понимаю: взяв на себя это посредничество, Уполномоченный проявил незаурядную смелость. А вдруг в его руках была шифровка, которой пытались обменяться шпионы? Куда проще, куда безопаснее было уничтожить записку. Но он ее передал!

И сразу согласился пустить меня в Казань. В своей стеганке и шапке-ушанке, он ежедневно заседал в «штабе», беседуя с репатриантами по поводу тех городов, где приезжим будет обеспечена прописка и работа. Что означает слово «прописка», мы не знали. Нам объяснили: разрешение на жительство. А в другие города мы, что ж, не имеем права? Имеете, имеете, добродушно говорил Уполномоченный, поживете в указанных, а потом махнете куда пожелаете. Только учтите: и работы, и прописки там самим придется добиваться! Среди «указанных» — Свердловск, Кемерово, Челябинск, Чкалов, Казань и еще какие-то города. Все они, кроме Казани, были уральскими и сибирскими. Уполномоченный сам предлагал город, а если собеседник колебался, — не настаивал, но мягко убеждал. Меня он пытался мягко убедить ехать в Свердловск, но я просила Казань, и мне уступили. Ладно, давайте в Ка-

зань, раз уж там ваши дружки! И тут он мне весело подмигнул, а я подумала: «Славный малый, простоват, ну, с русским языком не все благополучно, университетов не кончал. Но главное — советский человек!».

Я собиралась покинуть Шанхай с третьей группой, однако пришлось задержаться. Газете «Новая жизнь» требовалось мое перо. Главным событием жизни русской колонии Шанхая той осенью был отъезд вчерашних эмигрантов на землю отечества. Уже в самом появлении на китайских водах советского теплохода, отправленного родиной за ее блудными детьми, было нечто волнующее. Это не говоря о минутах отплытия, когда отъезжающие бросали с палубы ленточки серпантина, а провожающие подхватывали, и дрожал воздух от громких пожеланий счастливого пути, заглушаемых звуками марша (на берегу ли пели медные трубы или музыка неслась с парохода — не помню, не помню!), — обстановка, в общем, была самая торжественная. Это торжество пытались отравить ретроградно настроенные эмигранты. С толпой провожающих смешиваться они опасались, но откуда-то сбоку слышались отдельные выкрики вроде: «Куда вас несет, безумные?», «В Соловки захотели?» Рвались ленточки серпантина, пароход отходил, отплывал, разворачивался, исчезал, провожающие расходились, я же мчалась прямиком в редакцию и описывала все увиденное восторженно-умиленным слогом. Статей не сохранилось, я их не помню, но, конечно же, восторг и умиление присутствовали. Подобные события я в то время иначе описывать не могла... Отъезд двух групп описала, с третьей думала отплыть сама, но меня остановил В. Н. Рогов. Директор ТАСС. Наш начальник. Руководил газетой «Новая жизнь» издали, неофициально, редко бывая в редакции, — для указаний и объяснений вызывал к себе в помещение ТАСС. Вот он мне и велел задержаться и описать счастливые отплытия двух последующих групп. Означало ли это, что Рогову мои опусы нравятся? Несомненно. Но этих слов сказано не было. Похвалы от Рогова не дождешься. Его похвала

столь весома, что хвалимый тут же зазнается и решит, что обойтись без него невозможно, что он — незаменим. А обойтись можно без каждого: незаменимых нет! Газета моему перу найдет замену, но для этого нужно время, а пока мне следует продолжать уже ставшую привычной работу...

Что касается Уполномоченного в Находке, то держать нас на дистанции, воспитывать в советском духе в его обязанности не входило. И к тому же человек он простой, не Рогову чета! Вот он искренне, по-свойски, не опасаясь, что я зазнаюсь, выразил мне горячее восхищение. Хлопнул себя по колену и воскликнул:

— Это надо же! Чистый цирк!

Речь шла о быстроте, с которой я печатала на машинке.

На следующий, что ли, день после нашего вселения в деревянный барак я с разрешения Силина перетащила свою машинку в Штаб репатриантов. Собиралась просто отстукать письмо маме и отстукала, а спустя два-три дня, когда уже начал складываться наш ни на что не похожий быт и стали раздаваться громкие жалобы на «невыносимые условия», и куда нас, Господи, завезли, и долго ли нам здесь мыкаться, я сочла своим журналистским и гражданским долгом поддержать дух переселенцев печатным словом. Напишу статью и вывешу ее, как стенгазету, в этом холодном, прокуренном помещении. Написала. Призывала всех ни на минуту не забывать о страданиях, только что перенесенных нашей родиной, и уж нам-то, ее мук не делившим, жаловаться просто грех!

Но это я сейчас выдумываю, глядя на тебя, Тихий океан, омывающий желтый песок пляжа Лос-Анджелеса, а что именно я насочинила, находясь на другом твоем безотрадном берегу, в порту Находка, в прокуренном помещении Штаба репатриантов, — убей не помню! Зато хорошо помню мои тогдашние настроения, а значит, что-то похожее я должна была сочинить.

Вот меня и настиг за этим занятием Уполномоченный. Я трудилась за его столом («прием от... и до...»), соби-

ралась до его появления исчезнуть, но увлеклась, шагов не услышала (валенки!), опомнилась от возгласа:

— Ну надо же! Чистый цирк! — и сразу поняла, чем вызвано восхищение. Уполномоченный заявил, что мне будет отведено место вон в том углу, и столик найдется, и сказал вошедшему Силину:

— А мы машинисткой обзавелись, Василь Петрович! И какой! Класс!

Я была польщена этой похвалой, столь детски-непосредственно выраженной, и обрадовалась, что мое умение здесь пригодится.

Оно и пригодилось. Начиная с этого дня то Силин, то Уполномоченный диктовали мне свои приказы, а я, напечатав и сделав копии, ходила развешивать эти бумажки по баракам. Очень хорошо помню, что ходила и развешивала либо расклеивала, а значит, было много экземпляров, но вот откуда бралась копирка?.. Откуда бумага? Не знаю! Забыла и тексты этих листков, и уж не вспомнить мне, что именно приказывали репатриантам, чего от них ждали. А я те три недели, что мы проторчали в Находке, была деятельна, ощущала свою нужность, и трудности быта не огорчали меня.

В стране тем временем вот-вот должна была грянуть денежная реформа (о чем мы не знали) и выборы — об этом очень даже знали. Штаб репатриантов переделывался в агитпункт. Вновь возникли японские военнопленные, с песнями вымыли полы и окна, затем грузовик, привозивший в барак-столовую наше питание, привез заодно и портреты (видимо, тех, за кого нам следовало голосовать), а также цветы. Убеждена, что цветы были бумажные, откуда взяться настоящим на этих ледяных просторах? В очередном приказе репатрианты женского пола приглашались в Штаб украсить помещение, а художники — нарисовать плакаты. Приближался светлый день выборов, когда мы, вчерашние эмигранты, вместе со всем советским народом благоговейно опустим в щель урны листок с двумя нам неведомыми фамилиями... Ну а за покрытым клеенкой столом Уполно-

моченного появится полная, в белом халате женщина, над ее головой надпись: «Буфет», а на столе — колбаса любительская, шоколадные конфеты «Мишки», монпансье, пряники, а также бутылки... С чем? Водки не помню, была она или нет — не скажу, но вино было. А те из нас, кто успел спустить на рынке что-то из своих носильных вещей, встретили буфет во всеоружии, и перед толстухой в белом халате собрались покупатели. Она покрикивала:

— Не толпитесь! В очередь, в очередь! — и спрашивала: — Вам сколько грамм?

Вопрос ставил нас в тупик — к этой мере веса мы не привыкли, в Харбине торговля шла на фунты, в Шанхае — на паунды... Брякали наугад:

— Ну, грамм двести! — и шептались: — Это как будто похоже на полфунта?

В светлый день выборов мы вступали в новую жизнь: голосовали вместе со всем советским народом и учились быть организованным советским покупателем. Не у всех, но у многих настроение было праздничное. У меня-то уж во всяком случае было...

А какой испуг я пережила за несколько дней до этого!

Когда блондин в новом, ослепительно белом полушубке, неизвестно откуда явившийся («Из центра», — сказал Уполномоченный), по совету того же Уполномоченного решил что-то мне продиктовать. Что-то, несомненно относящееся к грядущим выборам. Эдакая предвыборная речь, с которой блондин собирался выступить — перед кем? Не перед нами, ибо, надиктовав мне две машинописные страницы, из которых я ни слова не помню, он исчез навсегда. На вид лет двадцать пять — тридцать, куда моложе Уполномоченного, а держался начальственно. Диктуя, стал расхаживать по комнате, вот первая фраза, пауза, дальше, говорила я, вторая фраза, быстрее, говорила я... И на третьей — блондин изумленно застыл:

— Ничего себе!

— А что я говорил! — возликовал Уполномоченный. И возгордилась я. Гордилась недолго.

— Не остаться ли вам в Находке? — спросил блондин, держа в руке напечатанные мною страницы. — Пригодились бы тут!

Пересохшими губами я пролепетала, что я не... что я бы предпочла... что мне бы хотелось... А чего я, собственно, испугалась? А того, конечно, что меня могут оставить насильно, против воли. Как же так? Ведь верила, что истинная демократия возможна лишь при социализме, что свобода... Да, но свобода есть осознанная необходимость, звучали в моих ушах эти затверженные, не вполне понятные слова, и сейчас мне скажут, что остаться в Находке — мой гражданский долг, именно здесь тот участок, где я принесу пользу отечеству, и, осознав эту необходимость, я вынуждена буду свободно согласиться, не мне, гордой своей сознательностью, любящей поучать других, не мне...

Но главное: под начальственным взглядом этого в белом полушубке молодца я ощутила свое бессилие, я никто и ничто, мною могут распорядиться как угодно, хотят — здесь оставят, хотят — отпустят... А значит, тлели в глубине моей души, на самом ее донышке, страх и неверие, иногда дающие вспышки, но я их гасила, и это становилось с годами все труднее, сколько же мне понадобилось лет, чтобы... А что касается блондина, он, к счастью, не настаивал, сказал: «Подумайте» — и уехал, но я еще два дня боялась и придумывала разные аргументы, из которых главным был: «Но я в Россию хочу, в Россию!» А мне бы сказали: «А здесь вам разве не Россия?»...

Но тот твой далекий берег, Тихий океан, мне совсем не казался Россией, я мечтала о нестеровских и левитановских пейзажах, я их скоро увижу, они будут меня утешать в минуты горестных раздумий и тяжких сомнений относительно благотворного влияния социализма, марксизма и ленинизма на судьбу моего отечества. Сколько же лет прошло после той нашей встречи, Тихий океан? Был декабрь сорок седьмого, а сейчас февраль восемьдесят девятого! Значит, больше сорока!

Твой берег мы покинули в самый последний день декабря. Как это было? Утром примчался гонец: собрать вещи, получить в столовой паек на дорогу, к одиннадцати быть с вещами у входа в барак, чтобы не задерживать грузовик, который повезет нас на вокзал. Меньше двух часов на сборы! Но мы с Юрой не растерялись, стали командовать: мужчины за пайком, женщины укладываются, спокойно, товарищи, спокойно, успеем! Успели. В назначенное время дисциплинированно сгрудились с вещами у входа. Вышли наружу и обитатели других бараков. В один грузовик мы все уместиться не могли, то ли машин было несколько, то ли нас возили поочередно, отвезя одну группу, грузовик возвращался за другой. Не помню! Зато очень помню, что приехали за нами не в одиннадцать утра, а в десять вечера. К этому часу наши вынесенные наружу чемоданы были покрыты шапками снега. Ясная погода кончилась, весь тот день шел густой снег. Что происходит? Почему за нами не едут? Спросить не у кого: разослав гонцов, Уполномоченный исчез, Штаб репатриантов на замке, Силин был в том же положении, что и остальные, и ничего не знал. Шли минуты, шли часы, стало темнеть, хотелось есть, но столовая закрылась, кроме с трудом разгрызаемых пайковых сухарей — ничего, воды не вскипятишь, наши чайники уложены, еще, к счастью, в бараке тепло, поочередно бегали греться.

Незабываемый день! В одном из бараков хватились какого-то Геннадия... Его, одинокого, бессемейного и, видимо, лишенного друзей, только потому и хватились, что чьи-то вещи на верхних нарах валялись неуложенными. Чьи? Геннадия! А фамилия? Кажется, то ли Толкунов, то ли... Его по приказу Уполномоченного куда-то увезли накануне выборов и не вернули! Как же теперь? Мы уедем, а он... И спросить некого! Так и уехали. На вокзал. Там при свете вокзальных фонарей грузились в теплушки. Откуда-то поступила команда (видимо, от военных, нас сопровождавших) сначала заносить внутрь вещи, затем уж садиться самим... Длинная фигура Юры в проеме теплу-

шечной двери, он принимал чемоданы, снизу ему подаваемые, всех подбадривал, шутил, а приняв последний саквояж, весело крикнул:

— А нам-то мест не осталось! — И затем: — Куда же денем золотой фонд?

«Золотым фондом» товарищ Сталин, славящийся своим человеколюбием, называл людей, и это его знаменитое выражение, весело процитированное Юрой, меня почему-то безумно рассмешило. Полагаю, однако, что это был нервный смех. Взошли, свет фонарей, падавший в открытые двери, озарил заваленные вещами полки, не то что лечь — сесть некуда, сгрудились в центре, вокруг буржуйки, и снова, как в юрте, стали искать свечи, одну нашли, зажечь не успели, двери затворились, полная тьма, чиркнули спичкой, затрепетал слабый огонек, я все еще глупо и нервно хихикала, и Юра мне:

— Перестань!

После чего стал командовать:

— Три полки освободить. Багаж упихать на нижнюю правую! За работу!

Тут состав дрогнул, пол под нами затрясся, поехали. В эти минуты било полночь. О чем нам сообщил кто-то, поднесший к свече руку с часами и произнесший насмешливо:

— С Новым годом! С новым счастьем!

Тут же послышался женский плач. Он помог мне взять себя в руки и бодро включиться в переукладку вещей, освобождая место для золотого фонда... Так мы встретили сорок восьмой год...

Ну а что касается исчезнувшего в Находке Геннадия... Месяц или два спустя, живя в Казани, я услыхала, что его арестовали. Как? За что? А он в юности был членом Российской фашистской партии, но из Харбина бежал, взгляды свои изменил, вступил в Союз возвращения на родину и вот возвращался... Значит, ему не простили прежних заблуждений? Или, быть может, он делал вид, что свои взгляды изменил, а на самом деле был подослан фашиста-

ми? А следующей зимой в Казань стали доходить тревожные вести: в Свердловске среди репатриантов идут аресты! Но вскоре просочились новости утешительные: ряд арестованных были уголовниками, то ли грабили они, то ли убивали, а таким в тюрьме самое место! Постепенно стали всплывать имена арестованных, людей, мне и моим друзьям известных, от уголовщины далеких, их почему? Значит, так: знать-то мы их знали, но не так уж близко, мало ли что... Или так: всегда возможны ошибки, пройдет время, разберутся и отпустят. Что вы говорите? Зефиров? Николай Василич? Это как понять? Старый человек, лет около семидесяти, в первый же год войны обратился в советское консульство с просьбой о гражданстве, интеллигентный, многознающий, всеми уважаемый, в Клубе граждан СССР лекции читал, часто говорил, что мечтает умереть на родной земле, и при первой же возможности на эту землю устремившийся... Объяснение нашла я: «Он же был одним из министров омского колчаковского правительства!». И себя этим объяснением утешила, и своих друзей... А в Казани нас осело около ста человек. Тою зимой либо пять, либо шесть из них... Интересно! До сих пор ничего не знаю точно, ни цифр, ни фактов, все приблизительно, кое-как, наобум... Так вот, исчезло не то пятеро, не то шестеро. Ни друзья мои, ни я никого из исчезнувших не знали, знакомы с ними не были и успокаивали себя тем же: были, значит, какие-то причины, не могут же хватать людей ни за что...

Но Силин, Силин! Его энергию, щедрость, предприимчивость ценили работавшие в Шанхае «старшие товарищи». Сам генеральный консул Ф. П. Халин с супругой запросто посещал супругов Силиных, а те в свою очередь бывали в гостях у Халиных, короче говоря, невозможно было себе представить, что Силина арестуют! Но именно это с ним произошло в Одессе, куда он переехал из Свердловска спустя года два после возвращения на родину. Узнала я об этом совершенно случайно, в самом конце пятидесятых, живя в Москве. Но искать объяснений, пы-

таясь утешать себя и обманывать, — не пыталась. Я была не та, что прежде. Я уже...

Они машут мне снизу, мои милые американцы Адель и Рон, они идут к лестнице, оба сравнительно молоды, каждому не больше сорока, сейчас засияют передо мною их белозубые улыбки, сейчас я услышу извинения — простите, что мы вас оставили одну на целых... Да, в самом деле: на целых полчаса. А в беседе с тобой, Тихий океан, время пролетело незаметно, и сколько же, сколько всего ты помог мне вспомнить!

...Темно-красная вязаная фуфаечка, надевается через голову, на левом плече — пуговицы в виде шариков, вижу ее так ясно, будто надевала вчера, а натягивала ее на меня няня, приговаривая:

— Это тебе АРА подарила!

АРА. Одно из первых слов, услышанных мною в жизни. Позже узнала: Американ Релиф Ассосиэйшн — Американское благотворительное общество. Оно кормило, одевало, лечило тех, кто очутился в Омске, спасаясь от большевиков.

Маму, заболевшую сыпным тифом, увезли в госпиталь Американского Красного Креста, отец воевал, мы с няней одни, мы бы погибли без американцев! «Милосердия, милосердия!» — откуда этот возглас? Кажется, из «Мастера и Маргариты». Милосердные американцы! Готовы кинуться в любую точку земного шара, помогать всем, кому плохо, никакое расстояние им не помеха, кстати, и в Шанхае в первый же послевоенный год...

Ступили на лестницу, начинают подниматься, идут, лестница долга, сейчас я расскажу им о доброте их соотечественников, такое слышать всегда приятно... А кстати! Ведь о существовании Америки я узнала в самом начале жизни, на рассвете, и могла бы никогда ее не увидеть, но вот — увидела! Суждено мне было, значит, в конце моего пути, на закате, близко прикоснуться к этой стране, сыгравшей такую роль в моей судьбе! Ведь кто нас вывез из Омска? Те же американцы! Госпиталь эвакуировал своих

больных, нас с няней разыскали, поместили в тот же вагон, где лежала мама. Мама на нижней полке справа, а на полке слева — исхудалый и бледный мужчина, позже я узнала — внук Льва Толстого Илья Ильич. В Харбине он не задержался, из памяти моей выпал, но в самом конце шестидесятых мы встретились в Москве. На слова Ильи Ильича:

— Рад с вами познакомиться! — я сказала:

— Но мы знакомы уже пятьдесят лет. Омск. Сыпнотифозный вагон.

— Господь Христос! — воскликнул граф. — Так это были вы?

Он думал, что щебечущий ребенок в красной фуфайке ему привиделся в бреду...

Они передо мной, мои американцы. Сейчас мы поедем к Рону, в его дом, где мы с Адель еще раз переночуем в комнате для гостей.

За три дня в Лос-Анджелесе мне показали все то, что туристу смотреть положено, завтра — обратно в Тусон, к нашим студентам. Которых я ежедневно, кроме суббот и воскресений, пытаюсь знакомить с жизнью моего отечества, недавно вступившего в эпоху «перестройки и гласности». За этим, себе в подмогу, меня и пригласила в Аризонский университет профессор Адель Баркер. Ее студентам никогда еще не приходилось близко видеть очевидца — жителя таинственной страны, задолго до их появления на свет потрясшей мир. И все еще продолжающей потрясать... Адель Баркер не была одинока. Как только с лязганьем и скрежетом стал подниматься знаменитый и уже во многих местах продырявленный железный занавес, как только повеяло прежде неслыханной свободой передвижения, немало других университетов стали зазывать к себе очевидцев. Всем хотелось знать, как живется нам, как дышится, что мы думаем о наступивших переменах. Не знаю, как справлялись с этим заданием другие очевидцы, видя устремленные на них доверчивые глаза молодых чужеземцев, я же иногда впадала в отчаянье. Бессилье свое

ощущала. Возможно ли хоть как-то приобщить людей из другого мира к нашей действительности? Сила советского строя в его неправдоподобии (сказал один умный человек): никто не мог поверить, что все было именно так!

Идем к машине Рона. Оглядываюсь. Прощай, Тихий океан! Теперь уж навсегда!

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Андерсен, Лариса. Родилась в Хабаровске. Жила в эмиграции в Харбине, училась в харбинской гимназии М. А. Оксаковской. В 1933 году переехала в Шанхай, где в 1940 году вышел первый сборник ее стихов «По земным лугам». Ее стихи напечатаны в сборнике «Русская поэзия Китая» (М., 2001). Вышла замуж за француза, в настоящее время живет в городе Иссэнжо в центре Франции.

Верейская, Людмила Марковна, вдова художника Ореста Верейского. Автор книги «Встречи в пути» (М.: РИФ «РОЙ», 1996), публикатор каталога «Орест Георгиевич Верейский. 1915—1993. Графика» (М., 1994) и книги «Неизвестный Верейский» (М., 1995).

Виноградов, Виктор Алексеевич. Родился в 1939 г. Доктор филологических наук, профессор. Лауреат Государственной премии в области науки и техники. Директор Института языкознания РАН.

Вронский, Юрий Петрович, родился в 1927 г. в Москве. Писатель, сочиняет детские книги, детские стихи, переводит с польского, с норвежского.

Гиацинтова, Софья Владимировна (1895—1982), актриса и режиссер. На сцене с 1910 г. (МХТ, 1-я Студия МХТ, МХАТ 2-й), с 1938 г. в театре им. Ленинского комсомола.

Грекова, И. (псевдоним, от лат. «игрек»), наст. имя и фамилия — Вентцель Елена Сергеевна (1907—2002). Писатель-прозаик, математик, профессор, доктор технических наук. Автор многих научных работ, в том числе учебника для вузов «Теория вероятностей». В

1962 г. опубликовала в «Новом мире» первые рассказы — «За проходной» и «Дамский мастер». Автор повестей «На испытаниях», «Хозяйка гостиницы», «Кафедра», «Вдовий пароход», «Пороги», «Перелом» и др.

Жобер, Вероника, родилась в 1945 г. Доктор филологических наук, профессор факультета славяноведения Сорбонны (Париж 4). Преподает русский язык и историю России XX века. Автор двух книг на французском языке о перестройке и о советской сатире в пост-сталинское время. Печаталась на русском языке в журналах «Мономах», «Континент» и «Колокол». В настоящее время готовит к публикации на основе семейного архива «Историю русской семьи в водовороте великого перелома. 155 писем из Советского Союза в Маньчжурию».

Зорина, Ирина Николаевна. Родилась в 1938 г. Историк, испанист, латиноамериканист, кандидат исторических наук. Более 30 лет работала в Институте мировой экономики и международных отношений РАН. Автор книг «Революция или реформа в Латинской Америке» (1971), «Третий мир: мифы и реальность» (1990), «Уроки Чили» (1977) и многих статей о социально-политическом развитии стран Латинской Америки. Перевела с испанского книги: Дилядьонга. «Король. Беседы с королем Испании Хуаном Карлосом» (2003); Пилар Урбано. «Королева София» (2004); Хорхе Масетти. «Патент корсаров. Тайная война Ф. Кастро в Латинской Америке» (1995); Карлос Альберто Монтанер. «Накануне краха. Ф. Кастро и кубинская революция» (1992) и др.

Кабаков, Александр Абрамович, писатель. Автор книг «Невозвращенец», «Сочинитель», «Последний герой», «Весна-лето» и др.

Кавтарадзе, Нана Петровна. В 13 лет снялась в главной роли в немой короткометражной картине Михаила Кобахидзе «Свадьба», вошедшей в золотой фонд советского кино, в 15 лет — в «Мольбе» Тенгиза Абуладзе. Закончила экстерном Тбилисский университет, защи-

тила диплом по французской литературе. Была принята С. Герасимовым на второй курс постановочного факультета ВГИКа, дипломная работа — Шекспир, «Леди Макбет». Вышла замуж, в 25 лет родила сына. Снималась в фильмах Шенгелая, Эсадзе и др. Сотрудничала с Совинфильмом, переводила по просьбе О. Иоселиани с французского на русский его сценарии. Учила детей французскому языку. Брала интервью у деятелей кино для ж. «Советская женщина», выходившего на фр. языке. С 1992 по 1997 собрала, отчасти приобрела и сама отвезла более полутора тонн новых вещей, теплого белья и обуви для детского дома в Коджори — горной деревне над Тифлисом. Сотрудничала с «Друзьями немецкой синематики» и Кино-Arsenal'ом в Берлине. Живет в Берлине и в Москве.

Карякин, Юрий Федорович. Родился в 1930 г. Философ, писатель, публицист. специалист по Достоевскому. Автор книг «Достоевский и канун XXI века» (1989), «Самообман Раскольникова» (1976) и др., а также публицистических статей о Солженицыне (ж. «Новый мир», сентябрь 1964 г.), «Стоит ли наступать на грабли?» (ж. «Знамя», сентябрь 1987 г.), «Ждановская жидкость» (ж. «Огонек», май 1988 г.). Составитель, автор предисловия и послесловия собрания сочинений Ф. М. Достоевского в восьми томах (1995). Народный депутат (1989—1991), член консультативного совета при президенте России (1991—1999). Сопредседатель общества «Мемориал», сопредседатель Союза российских писателей с 1991 г.

Касаткина Розалия Францевна, доктор филологических наук, заведующая отделом Института русского языка им. академика В. В. Виноградова РАН. Автор нескольких монографий, «Словаря трудностей русского произношения» (в соавторстве) и многих статей по фонетике и диалектологии русского языка.

Коммо, Ирина, родилась в 1954 году в Париже, в франко-русской семье. Отец — француз, высший чинов-

ник, мать — дочь эмигрантов, преподаватель русской литературы. Закончила Сорбонну и Институт политических наук в Париже. Работала 7 лет советологом во Французском институте международных отношений. Затем советником Министра прав человека и Министра промышленности Франции. Переехала в 1991 в Москву, участвовала в основании Русского отделения Европейского банка реконструкции и развития. С тех пор живет и работает в Москве. Дважды разведена. Родила троих детей: Игорь (26 лет) от французского врача и писателя Жана-Кристофа Руфэна, Александр (10 лет) и Анастасия (8 лет) от Владимира Лопухина, русского, политика, демократа и бизнесмена.

Лазарев, Лазарь Ильич, родился в 1924 г. Литературный критик, главный редактор журнала «Вопросы литературы». Участник Великой Отечественной войны, фронтовик. Автор ряда литературоведческих книг и большого количества статей.

Лаиль, Ольга, сестра Наталии Ильиной. Живет в Париже. Автор книги: OLGA ATIAEVA. Ariadna ou Flammes sur l'Extrême-Orient. Ymca-Press, Paris, 1998. В русском переводе: *Ольга Ильина-Лаиль*. Восточная нить / Пер. с фр. Т. А. Чесноковой. СПб.: Изд. журнала «Звезда», 2003.

Лакшин, Владимир Яковлевич (1933—1993). Филолог, литературный критик, литературовед, прозаик. Доктор филологических наук. Заместитель главного редактора ж. «Новый мир» (1967—1970) и ж. «Знамя» (1986—1989), главный редактор ж. «Иностранная литература» (с 1991). Автор книг и статей о Толстом и Чехове, об Островском, Бунине, А. Камю, У. Голдинге, о М. Булгакове, А. Твардовском, А. Солженицыне, а также многих других литературоведческих, культурологических и публицистических работ (см.: *Лакшин В. Я.* Берега культуры: Сборник статей / Сост. В. Н. Лакшина. М.: МИРОС, 1994).

Латынин, Леонид Александрович, родился в 1938 г. Поэт и прозаик. Закончил филологический факультет МГУ. Автор фантастических романов и антиутопий, вышедших в России, Франции и Америке, — «Гример и муза», «Спящий во время жатвы», «Ставр и Сара», а также шести стихотворных книг.

Латынина, Алла Николаевна, родилась в 1940 году. Литературный критик, литературовед. Окончила филологический ф-т МГУ и аспирантуру философского ф-та МГУ. Кандидат филологических наук. Работала в издательстве «Советский писатель», в «Литературной газете». Автор нескольких книг и многих статей о современной и классической литературе.

Лундстрем, Олег Леонидович, джазовый музыкант, композитор, дирижер. Родился в 1916 г. в Чите. В 1921 г. семья по документам марионеточной Дальневосточной республики переезжает в Харбин на КВЖД, куда отца пригласили на преподавательскую работу. После коммерческого училища в Харбине поступил в Политехнический ин-т и одновременно в музтехникум, который окончил по классу скрипки в 1935. В 1934 шесть харбинских музыкантов организовали биг-бенд. В 1947 — возвращение в СССР. В 1953 Олег Лундстрем окончил Казанскую консерваторию. Народный артист России. Почетная степень Доктора наук Международной академии Сан-Марино. В 2004 джазовый оркестр Олега Лундстрема отметил свое семидесятилетие.

Мейер, Екатерина, супруга Кристофера Мейера, посла Великобритании в США в 1997—2002 гг. Живет в Лондоне. Основательница и президент благотворительной организации ПАКТ, оказывающей помощь потерявшимся и похищенным детям и их родителям.

Новикова, Марина (Мария Алексеевна), филолог, культуролог, эссеист. Доктор филологических наук. Живет в Симферополе.

Ольшанская, Татьяна Андреевна, родилась в 1942 г. Преподаватель французского языка, доцент.

Питляр, Ирина Александровна, родилась в 1915 году, литературный критик, литературовед. Печаталась в «Литературной газете», «Новом мире», «Знамени», «Дружбе народов», «Литературном обозрении» и др. Много лет работала в издательстве «Советская энциклопедия» (один из редакторов «Краткой Литературной Энциклопедии»).

Рассадин, Станислав Борисович, родился в 1935 году. Критик, литературовед, автор книг «Драматург Пушкин», «Фонвизин», «Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина», «Русские», «Очень простой Мандельштам», «Русская литература: от Фонвизина до Бродского», «Самоубийцы» и мн. др.

Рощин, Михаил Михайлович, родился в 1933 г. Прозаик, драматург. Лауреат премии имени Станиславского и премии имени Сахарова. Автор многих прозаических книг («Шура и Просвирняк», «Бунин» и мн. др.). Спектакли по его пьесам («Валентин и Валентина», «Эшелон», «Старый Новый год», «Спешите делать добро», «Серебряный век») поставлены во МХАТе, «Современнике», во многих театрах России, Европы и Америки.

Сараскина, Людмила Ивановна, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания. Историк литературы, автор книг «„Бесы" — роман-предупреждение» (1990), «Возлюбленная Достоевского (Аполлинария Суслова)» (1994), «Федор Достоевский. Одоление демонов» (1996), «Николай Спешнев. Несбывшаяся судьба» (2000), «Граф Н. П. Румянцев и его время» (2003) и др.

Сарнов, Бенедикт Михайлович, критик, литературовед. Автор книг: «Рифмуется с правдой. Книга не только про стихи» (1967), «Самуил Маршак. Очерк поэзии» (1968), «Бремя таланта. Портреты и памфлеты» (1987), «Заложник вечности. Случай Мандельштама» (1990), «Смотрите, кто пришел. Новый человек на арене исто-

рии» (1992), «Пришествие капитана Лебядкина. Случай Зощенко» (1993), «Опрокинутая купель» (1997), «Если бы Пушкин...» (1998), «Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма» (2002) и др.

Старикова, Екатерина Васильевна, критик, литературовед.

Тимофеева, Маргарита Владимировна, родилась в 1940 году. Журналист, редактор (издательство «Молодая гвардия» — 1966—1980; журналы «Октябрь» — 1980—1987, «Новый мир» — 1987—1992, «Культура и время» — с 2001 г.).

Толстой, Никита Ильич (1923—1996), правнук Л. Н. Толстого. Родился в Югославии, участвовал в Великой Отечественной войне, добровольцем вступил в Красную армию. После войны вернулся в СССР. Окончил МГУ. Академик, филолог-славист. Работал в Институте славяноведения и балканистики РАН.

Турков, Андрей Михайлович, критик, литературовед. Автор книг «Ваш суровый друг. Повесть о М. Е. Салтыкове-Щедрине», «Чехов и его время», а также книг о Левитане, Кустодиеве, Александре Блоке, Александре Твардовском, Николае Заболоцком и др.

Федоров, Святослав Николаевич (1927—2000), хирург-офтальмолог, академик, общественный деятель, основатель и генеральный директор Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза».

Федорова, Ирэн Ефимовна, вдова Святослава Николаевича, президент Фонда содействия развитию передовых медицинских технологий им. С. Федорова.

Шмелев, Николай Петрович, родился в 1936 г. Прозаик, публицист, экономист, академик РАН. Автор книг «Исторические произведения» («Сильвестр», «Спектакль в честь господина первого министра», «Безумная Грета», «Деяния апостолов» — 1992) и «Пашков Дом. Curriculum Vitae» (1988).

Янковский, Валерий Юрьевич. Сын эмигранта, в прошлом крупного помещика в Приморье, именем которого назван полуостров вблизи Владивостока. Семья, спасаясь от большевиков, бежала в Корею в 1922 году. Учился в харбинской гимназии. В 1945 — переводчик с корейского и японского языков в Советской армии. В 1946 арестован, сослан на Чукотку, был в ГУЛАГе до 1952 года. С 1968 — журналист, литератор, автор 10 книг. Живет во Владимире.

ОГЛАВЛЕНИЕ

И ТОЛЬКО ПАМЯТЬ ОБО ВСЕМ ОБ ЭТОМ...

Наталия Ильина в воспоминаниях друзей

Издатель А. Кошелев

Художественное оформление обложки
Натальи Прокуратовой и Сергея Жигалкина

Корректор Е. Зуевская

Подписано в печать 01.04.2004. Формат 84x108 $^{1}/_{32}$.
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 6,48. Заказ № 718.

Издательство «Языки славянской культуры».
ЛР № 02745 от 04.10.2000.
Тел.: 207-86-93. Факс: (095) 246-20-20 (для аб. М153).
E-mail: Lrc@comtv.ru

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ОАО «Чебоксарская типография № 1».
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15.

*



Говорят, стиль — это человек. И как славно, что в русской послевоенной литературе есть такой стиль — стиль Наталии Ильиной.

Н. И. Толстой

Лишенная групповых пристрастий, она напоминает литературного ирокеза, невзначай оказавшегося на ковровой дорожке писательского департамента.

Владимир Лакшин

Нас с Наташей сближало то, что мы, пожалуй, больше других обращали внимание на профессиональную сторону жизни. Старались свое дело делать хорошо, никогда не задавались сверхзадачами, просто делали то, что умеем делать. Я думаю, это главная причина, почему мы не стали нытиками.

Олег Лундстрем

Обаяние Наталии Ильиной не в ее безупречности, а в ее ослепительных контрастах.

Юрий Карякин